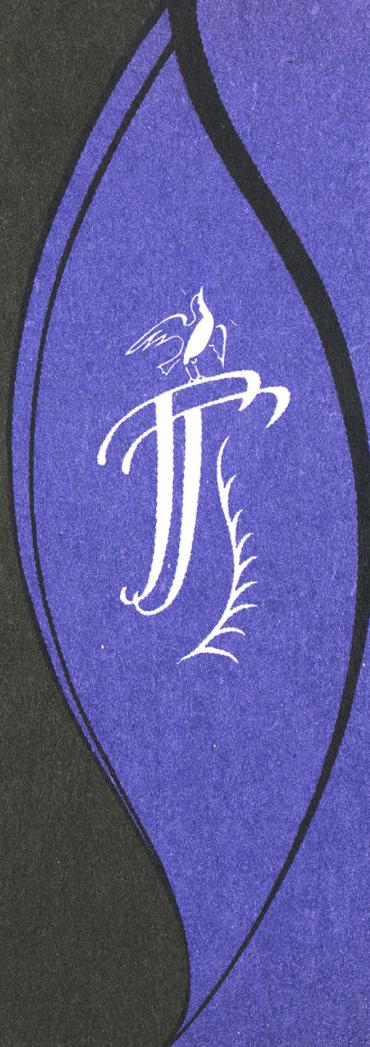
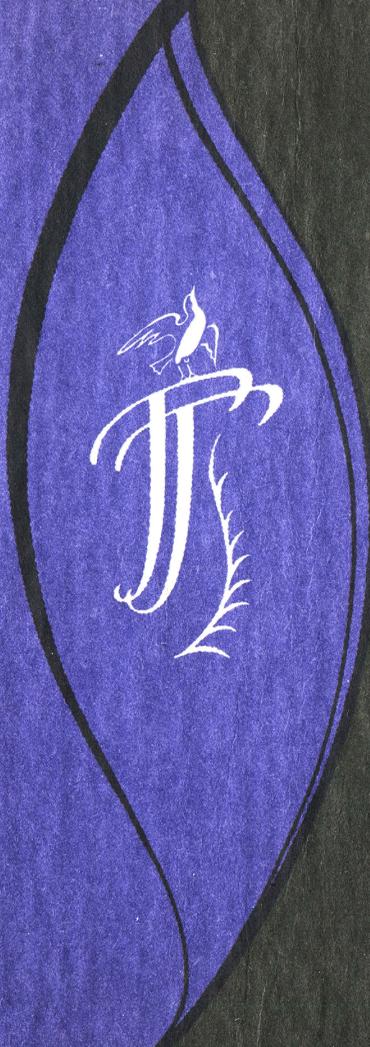


Глеб
Торбовский

Вспокоится
М

A large, ornate calligraphic flourish in blue ink. It features a central, stylized, teardrop-shaped element with internal shading. To the left, a small bird is depicted in flight. The flourish is surrounded by delicate, leaf-like patterns. Below the main flourish, the word "Вспокоится" is written in a smaller, elegant script, followed by a large, decorative initial letter "М".



Глеб Горбовский · Сорокоуст



Трестардобек

Глеб
Горбовский
Сорокоуст
Триптих



ББК 84.Р7
Г67

Редактор И. С. Кузьмичев

Художник А. И. Векслер

Г $\frac{4702010202-293}{083(02)-91}$ 180—90

ISBN 5-265-01245-1

© Глеб Горбовский, 1991 г.

I

Сегодня

1986-1989



МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

Ничего не изменилось
ни снаружи, ни внутри,—
настрогал в тарелку мыла
и пускаю пузыри.

О кровавых войнах помню,
ощущаю мысли жар;
утонченно, как японец,
созерцаю мыльный шар.

Оболочки переливы —
побежалость, перламутр...
Буду весел миг счастливый
и еще полмига — мудр.

Шарик лопнул. Сохнет мыло.
Тает в памяти узор.
Но, позвольте, что-то было!
Что-то нам ласкало взор.

...В облаках дорожной пыли,
друг мой, ангел ветровой,
мы с тобою тоже были!
Отдавали синевою!

Вознесенные над бездной
в оболочке продувной —
отражали свет небесный,
излучали свѣт земной...

1986

ИСЦЕЛЕНИЕ

В пепельных глазах — зарницы!
Жизнь: в сосудах кровь слышна.
Выпустили из больницы,—
изменились времена.

Кем он был в ночи минувшей,
в тине, что звалась судьбой?
Пасынком, стране ненужным?
Иноком? Самим собой.

Рвет ему лицо гримаса,—
кожа в трещинах морщин.
Справочку, а также паспорт
выдал медицинский чин.

Улица выводит к людям.
Надобно забыть тюрьму.
Жаловаться он не будет,—
даже богу своему.

Примет он мильон условий,
новых он найдет друзей...
Лишь бы исцелилась совесть
времени, эпохи всей.

ГЕОМЕТРИЯ СУДЬБЫ

Благословенны вертикали:
деревья, здания, столпы,
дым из трубы, стрела из стали
и частокол людской толпы...

Нет, не толпы... Толпа — понура.
А знак священный бытия —
есть одинокая фигура
у моря, в поле у жнивья,

в горах на ледяной вершине,
в пыли астральной на Луне...
А кто стоит, в каком он чине,
каких кровей — не важно мне.

Стоит, живет! По вертикали.
Всем сердцем впитывая даль.
Покуда все его печали
не зачеркнет горизонталь.

1988

* * *

Я должен был родиться журавлем,
но по ошибке или по улыбке —
явился в мир в обличи своем,
чтоб досаждать тебе, колючей рыбке.

Порою забываю, кто я есть:
машина, птица, человек уставший?
Так хочется понять: зачем я здесь,
ни дьявола, ни бога не выдавший?

Истаивает в сердце вещество,
что делало осмысленным пространство
вокруг меня... Но только и всего
вокруг меня — блаженное тиранство.

Я помню, как в далеком октябре,
когда мне шел десятый день от роду,
отчетливо по небу на заре
шли журавли... И славили свободу.

1986

ПРЕЛЕСТНОЕ СЛОВО

Не знаю, какая причина
тому, что из многих одно —
крестьянское слово к р у ч и н а
волнует меня, как вино.

Неужто все дело в напеве,
когда сочинитель земной
кручину по лапушке-деве
сравнил с подколодной змеей?

Что было той музыке — пищей?
Реки сокровенный изгиб?
Застравшее в соснах кладбище?
Иль ветра осеннего всхлип?

Причина останется песней,
крестьянского сердца мечтой.
А слово с годами — прелестней,
как месяц над тихой водой.

Кручина, лучина, пучина...
Крушины врачующий куст.
И слово, без явной причины,
летающее в душу из уст!

1989

ВСТРЕЧА

На севере, в безжизненном пространстве
среди камней, казалось вросших в лед,
на сотый день моих якутских странствий
я обнаружил этот самолет.

Он состоял из рваного металла
и двух сидений, в коих смысла нет:
в одном лишь снег (там птичка натоптала),
в другом полураспавшийся скелет.

Я размышлял: предать земле находку
и прочь уйти — в пустой и редкий лес...
И вдруг, стремглав, как из пучины в лодку,
в незанятое кресло перелез!

И несколько минут, а может, вечность,
я впитывал затылком мертвый взгляд.
...Случайно или нет свершилась эта встреча,
возникла эта связь, преодолев разлад?

И в заспанные мхи вгрызался алюминий,
и призрачная глубь в себя вбирала прах...
И мне, и мне лететь
сквозь этот сумрак синий,
в мерцанье тех же звезд,
утратив тот же страх.

1988

МАДОННА

Я встретил женщину. Она
который год была пьяна.
Она была больна, негожа,
но... с Богородицею схожа.
В ее глазах — и свет, и мука,
и с сыном истины разлука.
В ее руке лежал пятак.
Она еще робела, клянча.
Так рысью вдруг припустит кляча
и вновь плетется кое-как.
И стал вопрос передо мной:
не ты ли, брат, тому виной,
что мать людей, ничья жена
в такую боль погружена?
Ты разве с болью той знаком,
чтоб откупиться пятаком?
И мог бы ты, ради Христа,
поцеловать ее в уста?

1988

* * *

Над полюсом сквозит
озонная дыра.
О чем сие гласит?
Опомниться пора!

Скажи, губитель вод,
всего живого враг,
зачем небесный свод
ты превратил в дуршлаг?

Ты говоришь: «Прогресс!»
Ты знаешь, что почем.
А в дырку бес пролез
с убийственным лучом.

Он превратит твой дух
в безмолвный пар и снег.
Покуда не потух,
опомнись, человек.

Покуда не исчез,
добру не прекословь.
Ты говоришь: «Прогресс»,
а ты добавь: «Любовь!»

1988

ПЕРЧАТКА КОСМОНАВТА

Потерянно и безучастно
в астральной тьме вокруг Земли
плывет забытая перчатка,
одна в космической дали.

И мимолетные частицы —
пыль звездная, остывший жар,
нетленной вечности крупички —
в нее втекают, как в ангар.

Когда-нибудь заполнит небо
всю глубь ее,
отформовав
людской руки посмертный слепок,
Рукой Возмездия назвав.

1988

МЕРТВЫЕ СЛОВА

Мутна была погода,
мертва листва словес:
«лишенец», «враг народа»,
«в расход», «лагпункт», «обрез».

Что вынести Отчизне
пришлось и — для чего?
Лишенец... смысла жизни?
Враг... брата своего?

Слова как брань, как окрик,
как свист хлыста сквозь век:
«гулаг», «рабсила», «контрик»,
«нацмен», «баланда», «зэк»...

1988

У КЛАССНОЙ ДОСКИ

Не ведая смутной кручины,
не чуя последней тоски,
румяное дитяtko чинно
мудреет у классной доски.

А рядом — не спавший ночами,
познавший все «против» и «за»,
учитель, вкусивший печали,
прикрывший ладонью глаза...

Скажите, кому это надо,
чтоб эти — отвага и страх —
сейчас совместились два взгляда,
две веры... в бессмертье и крах?

1987

НА ПУСТЫРЕ

Благословенна отчая земля,
любой пустырь, где яснолико
восходит одуванчик, земляника —
сквозь мусор века взгляд мой веселя!

Не созерцать, но трепетно любить
меня зовут бетонные торосы,
и эти анемичные березы,
и эти травы, стонущие: пи-ить!

Блуждая в лабиринте вещей книг,
нет, я не в них, а там, где слезы зреют,
ту истину, что истин всех добрее,
на пустыре излюбленном постиг.

Во зле животрепещущем тесны
границы счастья бытия людского,
как счастья одуванчика простого —
от золота волос до седины...

1987

* * *

Я дверь открыл и в комнату вошел:
повсюду пыль, как черный снег фабричный,
останки мух и паутины шелк,
и этот воздух каменный, третичный...

Я сделал шаг — и... выстрелил паркет! —
приветствуя меня тоской дремотной,
как будто я отсутствовал сто лет,
а не какой-то август мимолетный.

Я шляпу снял. Потом открыл окно.
Потом обнял предзимним взором книги.
И вдруг — на миг — мне сделалось смешно
О, кто бы знал, как горьки эти миги...

1987

* * *

Бессловесна, безвестна, чиста,
словно позднего лета убранство,
тихо тает твоя красота,
постепенно сливаясь с пространством.

Милосердной не требуя лжи,
не бормочет бессвязное что-то
о красотах нетленной души,
где местами сошла позолота...

Исчезает. Как парус из глаз.
Не из памяти — вот она, милость!
И хоть солнце зашло, день угас,
а заря еще долго дымилась...

1987

УЛЫБКА

Я стал просыпаться с улыбкой.
Внедрилась такая черта.
Все ломкое сделалось гибким:
терпенье, восторг, красота.

Стучит подоконная птица,
пытаясь разрушить мой сон,
а сон, не успев преломиться,
густеет, как благовест-звон!

Наверное, так вот будила
планету, лишенную бед,
улыбка! О, лишь бы хватило
ее — на последний рассвет.

1987

* * *

Январь. Мороз. Крещение.
Воробышек-сыскарь.
Достойна восхищенья
сия живая тварь.

Что ни отыщет — благо:
зерно, клочок тепла...
Вот воля, вот отвага,
вот жизнь — не кабала!

Жить цепко, зябко, гибко,
без денег, без гробов —
и высекать улыбку
с трусливых губ рабов!

1987

ДАЧНИК

Бес попутал, не иначе, —
лысый черт по кличке Быт:
вышло так, что наша дача
возле кладбища стоит.

Деревенский тот некрополь
в трех соснах — на трех ветрах...
Крик пичужки там как вопль!
Ветра вой — как мира крах!

С непривычки спать ложились,
как в могилу, — в глубь тахты,
напружинивая жилы
в ожидании беды.

...А теперь, когда с годами
я на даче сплю один,
весь обложенный цветами
садоводческих куртин, —

мне ни капельки не страшно;
в поте мысли — не лица —
вспоминаю мир продажный
с легкой грустью мертвеца.

Одичал. Светлею к ночи.
Мрачен днем. Иль вот скандал:
скоро будет год, как почту
распечатывать не стал...

1989

* * *

Какая длинная зима,
какая долгая тревога.
Все эти вывихи ума
и опрометчивости слога.

И хоть судьба как Древний Рим:
в руинах (дух и оболочка) —
еще стрекочет в жилах ритм,
во рту позвякивает строчка!

И сердцу дороги весьма
все эти зимы, храмы, сцены...
Какая долгая тюрьма,
какие призрачные стены.

1987

БОСИКОМ

В. Лихоносову

Притомился на знойной дороге,
снял обувку, прохладой влеком,
и, терзая землицею ноги,
неумело пошел босиком...

Что тут было! Особенно с сердцем,
поощрившим такую игру.
Вся история пращуров сельских
всколыхнулась, как рожь на ветру.

Заструились священные токи
ввысь, по жилам — от сердца земли...
И бесстрашно на сером востоке
новым днем облака зацвели.

1987

ИССТУПЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Дымится лик в дожде и зное,
в подкожном, нутряном огне!
В нем божеское и земное,
как свет и тень в текущем дне.

Лицо исполнено отваги —
желанья жить, хотенья сметь!
Живя в сиянье и во мраке,
горел и зеленел, как медь.

Лицо истерзано, изрыто.
Он стар, но — ловок на дела:
чинить разбитые корыта
и выцветшие зеркала...

Его походка — буря, битва
с самим собой! Мир восхищен...
И седину срезает бритва,
и щечки рдеют кирпичом!

1989

* * *

Не нам на рассвете решать,
что с миром случится к закату.
Старайтесь поглубже дышать.
Возьмите в сарае лопату.

Начните копать огород.
Затем улыбнитесь беспечно.
И верьте не только в народ,
а также — в туманное нечто.

Узрев над рекою туман,
вглядитесь в него безоглядно.
И молча поверьте в обман,
чтоб истине стало накладно.

1987

* * *

Лужайка. Трава на припеке нежна.
Прилягу. Потом загляну в небеса.
Спокоен. Поддержка ничья не нужна.
Один. Опустилась на грудь стрекоза.

Усталость. Как долго я шел никуда.
Рокочет. Чья воля укажет мне путь?
Машина! Трава подо мною густа.
Минует? А может, запрыгнет на грудь?

Истома. Ревет выхлопная труба.
Кабина. Неужто уже сенокос?
Парнишка. Горячую прядку со лба.
Ромашка. Танцует у самых колес.

1988

КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ

Так повелось на свете,
впиталось с молоком:
«здоровкаются» дети
с прохожим чужаком.

Пострел обронит слово,
в глазах притушит свет
и весь замрет сурово:
ждет на привет — ответ.

Весь в цыпках-царапушках,
озяб наверняка;
тесна его избушка,
улыбка — широка!

И хочется, и нужно
за тот привет — не жаль! —
отдать ему всю душу,
взять — всю его печаль...

1987

* * *

Шумит за окном затяжной,
брюзгливо стучащий по листьям...
Опять притащилась за мной
тоска, изгибаясь по-лисьи.

Виляет горячим хвостом,
зовет за собой на болото.
«Ступай,— говорю,— со Христом!
Мне нынче не плачется что-то.

Я лучше дровец наколю,
огнем пропитаю поленья.
Я все еще солнце люблю,
любое его проявление».

И вот уже пламя внахлест.
И вот уже кто-то у печки,
поджав ослепительный хвост,
свернулся пушистым колечком.

1987

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ

Уже под крышу возведен,
еще глазницы окон слепы;
вьюнком-дичком переплетен,
и нет лица: есть маска, слепок.

Не мертвый, но и не живой.
Полувозник, полураспался.
И — что с хозяином? Запой?
Тюрьма? Хвороба? Сник, сломался?

Увлек его иной удел?
Где нынче дух его витает?
...А может, просто расхотел:
сидит и книжечку читает.

1987

* * *

Он звал меня, как пить просил — глоток! —
тот на войне сгоревший городок.
Его костями, как зверь, хрустел прогресс.
Но через эти муки — он воскрес!
И звал меня. И я, склонив судьбу,
к нему вернулся, словно дым в трубу.
И... не узнал — ни улиц-площадей,
ни стен родимых, ни родных людей.
Да тот ли город? Верится с трудом.
И вдруг — о, чудо! — уцелевший дом.
Среди вставных бараков, блоков, труб —
старинный дом, как уцелевший зуб!
Кремень-кирпич, чугунное крыльцо,
два голубых окна во все лицо.
Кто этот дом от смерти уберег?
Дитя невинное? Иль — старость? Или —
ро́к?
А может, ясная — алмаз в кипенье зла —
любовь двоих, что все перемогла?

1986

В СТАРЫХ АЛЛЕЯХ

Деревья-старцы... Кривы их тела,
ветвей суставы сумраком набухли.
Дорога возле них бурьяном поросла,
и в воздухе листва — как бабушкины букли.

Аллея-призрак. Где тот храм (иль дом),
куда влекли деревья? Где узоры?
Где клавикорды, что скрипели о былом?
Романсы терпкие и выпретенные хоры?

Ужель — все тлен? И прошлое — вранье?
Шуршит в траве сухая мышь-полевка.
На мертвых сучьях громоздится воронье,
и ветер меж стволов шатается неловко.

...Фальшивит мысль, как слабая струна;
волнует мозг былых восторгов плесень...
О, где тот лучший мир, и в чем его вина?
И что он нам сулил, помимо грустных песен?

1986

* * *

Город. Улица. Дождик слезится.
Неуютно в осеннем мозгу.
Незнакомые, свежие лица
возникают на каждом шагу.

Озираюсь. Намеренья зыбки.
Кто вы, люди? Откуда пришли?
Вижу только чужие улыбки,
а родные — давно отцвели.

С этих пор — без любви, без привета —
обжигая печалью нутро,
я блуждаю по белому свету,
как по белой бумаге перо...

1986

НА КРЮКОВОМ КАНАЛЕ

Не в комнате-пенале,
не в доме-утюге, —
я вырос на канале,
на влажном ветерке,
где старец в пыльной кепке
слыл поваром царя,
где стрекоза на щепке
плыла в свои моря,
где забегал, как школьник,
точильщик во дворы,
где звоны с колокольни
срывались, как шары!
Где ночью люди в черном,
во взглядах со свинцом,
пока ты спал, — проворно
являлись за отцом;
где мы не знали скуки,
где снег и впрямь был — бел,
где песен о разлуке
никто еще не пел...

1988

НОЧЬ НА ДВОРЦОВОЙ

Сквозь летний дождь, сквозь зимние мечты,
минуя подворотни и мосты,
прийти туда и, не раскрыв зонта,
вдруг догадаться: площадь не пуста!

Блестит асфальт, брусчатки зыбь рябá.
Нет ни души... Лишь музыка столпа
уходит ввысь, и киснет статуя ржа.
И вдруг прозреть: здесь гóрода душа!

Она стоит, босая, в свете луж,
вобравшая в себя миллионы душ.
И вдруг узнать — что всюду и нигде
ее звенели крылья на дожде...

1987

ЖИЗНЬ

Не бывает ни легкой, ни трудной,
ни какой-либо жизни другой,
а бывает она абсолютной,
как любовь или вечный покой.

Нет ни радости в ней, ни печали,
ни цветущих, ни старческих лет,—
есть бескрайние, мнимые дали,
душной вечности звездный скелет.

...А земля, обращенная к свету,
а трава, а вода, а гора?
А... душа?! А ее уже нету:
рассосалась, как дым от костра.

1989

ПОД ШУМ ВИНТОВ ГЕЛИКОПТЕРА

Военных вертолетов волчий труд.
Вот дали круг. Вот ринулись вперед.
Мне кажется, пока они ревут,
в Кремле уже идет переворот.

Такой у них в моторах злой наезд,
в нависших тушках—жажда мир объять...
Мне кажется, пока они висят,
природа поворачивает вспять,—

Не к Ленину и Троцкому — к весне,
к истокам, излучавшим чистоту,
к сидящему в наручниках на пне
проклятьем заклеяменному Христу.

1989

ПАДШИЙ АНГЕЛ

Отца не знавшее дитя
с улыбкой мудреца,
дитя невинное, хотя —
во взгляде хитреца.

Дитя отведало всего
за свой десяток лет...
А есть ли мама у него?
А мамы тоже нет.

Она сейчас встречает май
одна, прогнав отца.
...Какой же нравственный Мамай
прошел сквозь их сердца!

Ведь даже на огне войны,
где наш горел народ, —
все ж было меньше у страны
изгоев и сирот.

Дитя в одежке продувной.
Мат — из молочных уст!
И горних крыльев за спиной
уже ненужный груз.

1989

* * *

«Не зная жизни, умирать легко», —
сказал старик,

сложив котят в котомку.

На озере, ледок порушив тонкий,
он опустил их в воду
глубоко.

А кошка-мать смотрела, онемев,
на процедуру — с берега крутого.

Она была к насилию готова:

жизнь из нее повычерпала гнев.

...Я не схватил за шкурку старика,
я сам — старик.

Мир утвержден премудро.

Не зная смерти, разве можно утром
вот так, без слез,
смотреть на облака?

1987

* * *

Стоять в раздумье зрелом,
сомненья шевеля,
над бездыханным телом
угасшего шмеля.

Ах, крылышки как фалды!
Ах, шерстка — красота!
Как по стеклу кувалдой —
ударят холода...

В преддверье дней морозных
умрет — снежинкой тронь —
настурций низкорослых
приземистый огонь.

Все — тлен и прах?! Не верю!
Продлятся чудеса.
Шмель станет тигром-зверем,
зверь — взмлет в небеса!

Даль сделается — зримой,
жизнь — ангельской трубой,
постылая — любимой,
как ты — самим собой...

1986

* * *

Освободясь от ложного стыда,
теперь, когда рассудок вял и тучен,
люблю смотреть, как плачут провода,
что провисают
под нависшей тучей.
Еще люблю осенний ветра шум —
не просто слушать —
поглощать, как пищу,
по-стариковски, жадно,
сморщив ум,
как кожу лба,
где притаился прыщик.
Освободясь... уже который год
я коротаю август у погоста.
Десятка два могил.
Врата, точнее — вход
под сенью сосен — в царство...
Все так просто:
подует ветер — возникает звук.
Я слушаю,
предавшись долгой думе.
Не скрежет встреч,
но музыку разлук
я различаю в хвойном шуме!

1987

* * *

Бывает так: влюбился и затих,
как будто задохнулся от святыни...
Как будто смысл божественный постиг
и затаился, как туман в долине.

Он прячется в кварталах городов,
в лесных потьмах и нишах,
еще недавно — резок и бедов,
а ныне — паутины зимней тише.

И если вдруг во цвете лет
лишить его любви — не корчится в гордыне,
не заряжает пистолет, —
он исчезает... Как туман в долине.

1987

ЖЕРНОВА

Порхов. Остатки плотины. Трава.
Камни торчат из травы — жернова.
Здесь, на Шелони, забыть не дано, —
мельница мерно молола зерно.
Мерно и мудро трудилась вода.
Вал рокотал, и вибрировал пол.
Мельник — ржаная торчком борода —
белый, как дух, восходил на престол.
Там, наверху, где дощатый помост,
хлебушком он загружал бункерок
и, осенив свою душу и мозг
знаменьем крестным, — работал урок.
...Мне и тогда, и нередко теперь
мнится под грохот весенней воды:
старая мельница — сумрачный зверь —
все еще дышит, свершая труды.
Слышу, как рушат ее жернова
зерен заморских прельщающий крик.
Так, разрыхляя чужие слова,
в муках рождается русский язык.
Пенятся воды, трепещет каркас,
ось изнывает, припудрена грусть.
Всё перемелется — Энгельс и Маркс,
Черчилль и Рузвельт — останется Русь.

Не потому, что для нас она мать,—
просто не выбраны в шахте пласты.
Просто трудней на Голгофу вздымать
восьмиконечные наши кресты.

1989

•

•

* * *

Все ярче явь,
все жиже грусть.
К добру и свету льнет эпоха.
Все хорошо.
И я боюсь,
что вслед за этим —
будет плохо.
Уж так устроен этот мир —
на вечной смене дня и ночи:
кумира вытеснит сатир,
глаза... преобразятся в очи!

1988

* * *

Послушай, что тебе скажу
торжественно весьма:
мне кажется, что я схожу —
как с горочки — с ума...

Там, на вершине, на пиру,
не размыслений шлак, —
там я оставил на ветру
свою любовь, как флаг.

Минуя спящие дома,
шарнирами скрипя,
теперь иду — не без ума —
без смысла: без тебя.

Путь в одиночество треклят:
без смысла — в сад зимы.
И нет попутчиков в тот сад
помимо тьмы.

1986

ОТПЕЧАТКИ

Ночь. Знобящая истома.
Вызвать, вызволить, извлечь,
выкрасть, спящую, из дома,
от родных корней — отсечь!

...Возле дома снял перчатки,
дотянулся до окна
и оставил отпечатки
на стекле чужого сна.

Разбудить? На иней дунул.
Прочь пустился со двора.
«Неизвестно, что,— подумал,—
будет с городом с утра.

Пусть поспит...» И улыбнулся.
Ночь разлуки — не беда.
...Но обратно не вернулся
почему-то никогда.

Радость выдохлась в зачатке.
Почему, за что, зачем?
...Но остались отпечатки,
не сравнимые ни с чем.

1986

* * *

Косынка меж стволов!
Твоих шагов шуршанье
в листве отжившей, словно в старых снах...
Исчерпанные в нас,
смиренье с послушаньем
порой нужней, чем круг спасительный
в волнах.

Магический кристалл —
судьбы всеобщей зданье.
И, преломленный в нем, луч твоего огня...
Напрасно я любви не крикнул —
«до свиданья!»,
когда она, как жизнь, покинула меня.

1986

* * *

Брызжет снежная каши́ца,
тают слякотные дни.
Нам с тобой нельзя ужиться:
слишком в мире мы одни.

Дни былые, точно брызги,
разлетелись! Пыл — угас...
Уж нельзя по свету рыскать
с ядовитым блеском глаз.

Но порой — на перекрестке
честолюбцев и кликуш —
вновь столкнемся, как подростки,
ощетинив шерстку душ!

Перед тем как влиться в стаю,
вспомним тени давних снов...
Миг! — и музыка святая
нас пронизет до основ.

1986

* * *

Слышишь свист? Начинается вьюга.
Мы простим ей азарт... И опять
очень бережно вспомним друг друга,
чтобы миру надежды являть.

Мир летит, простодушный и древний,
дерзновенный, — мудрец и птенец.
Осыпается иней. С деревьев.
Изымается лед. Из сердец.

1987

ДВА ЛИЦА

С. В.

Твое лицо, подобное заре,
вернувшее меня из долгой ночи,
теперь — надолго... В черном декабре
оно — как сад — цветы добра пророчит.

И не беда, что видимся в году —
как май с июнем — хрупкое мгновенье.
Я — к своему, ты — к своему кресту,
но — вместе, вместе! Неразлучны звенья.

Улыбку в сердце для тебя запроу.
О, два лица как два смятенных моря...
Узнаем ли друг друга на ветру
там, за чертой — в немеркнущем просторе?

1987

* * *

В то утро солнце так и не взошло,
как бы сбывалось некое кощунство.
Дымилось тьмой оконное стекло,
земные — в небо — испарялись чувства,
и за окном сгорала жизни плоть...
И я подумал: мнимое — свершилось.
И тут же пальцы, сжатые в щепоть,
поднес ко лбу, где трепетали жилы.
И, как спасенье,— вспыхнул жалкий
свет —
там, за спиной, в квартирном углубленьи.
И чья-то тень, закутанная в плед,
вдруг возвестила о своем явленьи.
И голос был, хоть солнце не взошло:
«Что будешь пить? Сомненье или... кофе?»
Дымилось тьмой оконное стекло
и отражало твой летящий профиль.

1989

* * *

Давай поругаем прогресс,—
все эти, лишенные грусти,
машины — туды их, под пресс!
А сердце, глядишь, и отпустит...

В эпоху шумов и шумах
столь загнанно бьется сердчишко.
Давай поглупеем на миг,
устроим мозгам передышку.

И тут же очнемся! И — ну
приветствовать технику слепо!
Как пьет астронавт тишину,
дырявя атласное небо!

...Сжигая себя на огне
познания, сползая к итогу,—
помолимся злой новизне,
как старому доброму Богу!

1987

ДИТЯ ЛЮБВИ

В суете дневного бденья,
в звездном сумраке — во сне,
версия происхожденья
не дает покоя мне.

И хоть есть при мне изъяны:
груб, уныл, — неужто я
все-таки от обезьяны?
Лучше уж — от муравья.

Падок, хмур, не чужд рутины,
на бананы слаб... Молчу.
Но от мерзкой животины
вид свой числить не хочу.

Сходство есть... По внешней части.
Скотство — вот его итог.
Может, все-таки от счастья,
от восторга мой исток?

Грустно, граждане, и странно.
Гнусно жить, хоть не живи!
Почему — от обезьяны?
Может, все же — от Любви?

1986

ТАИНСТВО

Битый час ходить вокруг стола,
сесть на стул —
как одержать победу.
Взять перо —
как приступить к обеду.
Но — не есть, а дуть (ведь совесть жгла!).
Обоня мысленный бульон,
голодать над пищей,
то есть — думать.
В букву «о» смотреть,
как будто в дуло,
наведенное из тьмы времен.
...Станет жутко на какой-то миг.
Птицы молча в воздухе зависнут,
на весах — сомнения прокиснут,
дыбом встанет пыль
в шеренге книг.
Что случилось?
Дух повергнут в шок.
Что стряслось,
скажите нам на милость?!
Тише, тише...
Таинство свершилось:
сквозь асфальт проклюнулся
стишок.

1988

БУМАГИ ЧИСТЫЙ ЛИСТ

Бумага как лицо на зеркале стола,
без мысли, без черты — беспомощно бела;
без умысла мечты, без ужаса труда
в неведение своем, как юный мозг, чиста.

...Святая простота бумажной пустоты,
от века навсегда сулящая труды.
Вот-вот вокруг листа, как бы вокруг огня,
начнется ритуал — словесная возня.

Бумага будто степь... Полынные снега.
И коршун в вышине. Чуть ниже — кабарга.
Охота. Жертвы крик. Снега еще чисты.
Но миг — и занялись кровавые следы!

1986

* * *

Не убежденным, мудрым, ярим,
не знаменитым, не святым,—
однажды я проснулся... старым
и улыбнулся — молодым!

В овраге пели птицы мая,
рассада прела в парнике,
и за деревней — не прямая —
текла дорога вниз, к реке.

Она была сырой, пологой,
неразличимой в снег, зимой,
и, ко всему, была дорогой,
вернувшей странника домой.

1986

* * *

По мостовой булыжной
тележный стук колес!
Еще дымится пышный —
как облако — навоз.

Чарующее действо,
святое естество.
Я вспомнил город детства
и музыку его.

Морозный фырк лошадок,
скрип мерклых фонарей.
Трамвай, сарай дощатый,
с моста — быстрее, быстрее!

Сирены и клаксоны,
пуды в системе мер,
нехитрые фасоны
одежд, надежд, манер.

Все было хоть и плоше,
но ближе: смех, огни...
Вот что такое — лошадь
увидеть в наши дни!

1986

БАБЬЕ ЛЕТО

С утра ворвался южный ветер,
и потянуло вновь теплом.
И мы, как птицы или дети,
защебетали за столом!
Открыли окна в мир. И сразу
от клумбы — запах прелых роз.
И шмель, тяжелый, несуразный,
заплыл в окно, как бомбовоз —
уже порожний... И на ветке —
пустого сада поздний гость,
как нищий принц в убранстве ветхом, —
на солнце яблоко зажглось!
...Но вот осéклось дуновенье.
Померкли краски — вне и в нас.
И лишь восторг благоговейный
в душе просвеченной не гас.

1986

* * *

Друзья — деревья, птицы,
пшеницы колосок,—
дозвольте мне родиться
еще один разок.

Не под свирель метели —
под стоны соловья,
там, где-нибудь в апреле,
под музыку ручья!

Рожденный тускло, в осень,
в огрузших облаках,
хочу увидеть просинь,
как истину в веках.

Познав тоску и слякоть,
хочу, осмыслив путь,
от радости заплакать,
от горя хохотнуть...

Листая жизни повесть,
я заглянул в финал
и многое не понял,
и многих не узнал.

Друзья — деревья, птицы,
с кем вместе время пьем,—
позвольте вновь явиться!
Хотя бы — воробьем.

1986

* * *

Р. Вдовиной

Не профиль модницы капризной,
не облик матери седой,
но — образ всей цветущей жизни
запечатлеть в мечте святой.

Пишу, коленопреклоненный,
лик времени — лазурью дня,
несчетно раз запечатленный
другими — кровью! До меня.

1986

ЗАЧЕМ

Вновь журавлей пунктир...
Судьба подобна мигу.
Досматриваю мир,
дочитываю книгу.

Понурые слова,
нахохленные птицы.
Поломана трава,
листва с ветвей стремится.

Все гуще мгла ночей,
все жиже синь в просветах.
Не спрашивай: зачем?
Спросив — не жди ответа.

Не притяженью вслед
листва стремится с веток —
а чтоб к родной земле
прижаться напоследок.

1986

* * *

Пустыня. Память. Саксаул.
Порожней юрты полусфера.
Чужой — в просторах жизни — гул,
чужая дышит правда, вера.

Гул переходит в шепот, в сон,
в бездонный кашель из кургана.
Волк, попирающий закон,
как будто тушку тарбагана.

Ночь, обойденная добром.
Жизнь, цепенеющая тяжело.
И, городская, за бугром —
встает, как крик, многоэтажка!

1986

* * *

М. Борисовой

Блуждаю в прошлом, как подлодка,
что всплыть не может подо льдом.
И от мольбы вспухает глотка
в пространстве, смертью налитом.

С годами душу вяжут путы,
и ты плетешься, слаб и сир...
И манит прошлое, как будто
оно — потусторонний мир.

Путь в запредельное неведом.
И нужно — всплыть! И жаждет грудь
происходящего отведать,
как будто воздуха хлебнуть.

1986

* * *

Гостиница. Глубинка. Таракан,
застенчиво взирающий из щели.
За окнами — кирпичный истукан
трубы фабричной,
вместо высшей цели.
Мороз. Сибирь — планеты белый бок.
Любой дымок нацелен строго в небо,
любой росток... И я, кто был жесток,
еще живу, хоть и не столь свирепо,
как это было жизнь тому назад,
судьбою раньше, на заре туманной...
Благословенны — в инее фасад,
и ввысь труба, и... тараканы в ванной!

1986

* * *

Очнуться от прокисших нег,
взглянуть в окно и ахнуть: снег!
Не только смена декораций,
но — высшей нежности урок:
не только в зиму перебраться,
но — страстно выйти за порог.
Из меланхолии — в веселье,
из отщепенства — в кутерьму.
Душа справляет новоселье
еще при жизни, на дому!
И молча, как спросонок зверь,
теплом разверстым дышит дверь.

1986

УРОД

Опять иду по февралю
меж снежных завитушек.
...Порожных зданий не люблю —
ни храмов, ни избушек.
С трудом привыкший к бытию,
не к тапочкам — к эпохе,
передвигаюсь в даль свою
и вдруг... замру на вздохе.
Там, на окраине зимы,
есть дом — пустой, как череп,—
футляр для снежной кутерьмы,
никчемен и вечерен.
Издrevле здесь была тюрьма,
а нынче в ней бесплатно
зимой содержится... зима,
а коли так — и ладно.
Домов порожних не люблю,
но к этому уроду
хожу и душу веселю,
как воздух, пью свободу.
Пусть ветер семечко весной
швырнет ему во вьюшку,
чтоб он зарос бурьян-травой
по самую макушку!

1986

СОЛОВЬИ

Вороны, голуби, синицы —
отчетливые существа.
А соловьи — не столько птицы,
сколь — тайна, миф, мечта, молва...

Грачи, воробышки, сороки —
питомцы стай! А соловьи —
особняком. И в кратки сроки
ткуют песнопения свои.

...И в мире, где людские песни
звучат средь фальши и утрат,
есть голоса иных чудесней
и — одиноче во сто крат.

Они вразрез звучат! Без толку
для власть имущих болтунов.
И хоть звучат не слишком долго,
но проникают до основ.

1988

НОЧНОЕ ШОССЕ

Остановите, я сойду.
Прощайте в свете фар.
Пойду искать ночлег: скирду,
избушку, самовар...

Сошел, ступил: пенек, вода,
сучок нацелен в глаз.
Теперь — в дорогу! Но куда?
Во тьме порыв увяз.

А на шоссе кипят огни.
Машины мимо мчат.
Как будто завтрашние дни
в усердии урчат.

Как будто, брошенные мной,
бездомные мечты,
давясь воздушною волной,
кричат: куда же ты?!

Шоссе — душистая река.
Клубится синий дым.
Я — твой! Теперь уж на века.
И — с трепетом святым!

Я возвращаюсь. Тормозят.
Мне люб мой смертный путь.
И судьбы встречные сквозят,
и — свет... И в этом суть.

1986

СЕМЕНОВНА

Виктору Астафьеву

Семеновна, в глазах твоих тоска.
Нет, не тоска... Пожалуй, это — время.
Я не учел, что жить на свете вредно:
линяет взор, как поздние луга.

Нет, не тоска. Живым — не до нее.
Вошла корова в узкую калитку,
сбежались кошки к дивному напитку
и теплое лакают бытие.

Огромная, аж наклонила тын,
на огороде вымахала тыква!
Семеновна, скажи, а как же ты-то?
Старик — в земле. Последний спился сын.

Отменные над речкой клевера,
их не берет коса... а кто — наточит?
Я не умею. Дед-сосед не хочет.
Прости, Семеновна, однако мне пора.

Пора к себе. Я городом влеком.
Я вновь бегу, шепнув тебе «спасибо».
Ты остаешься сторожить Россию,
поить ее целебным молоком.

Семеновна, прощай. Живи всегда.
В глазах твоих любовь, в терпенье — сила.
...Вот что-то вспомнила и вдруг — перекрестила!
Кого? Меня? Деревню? Города?

1986

* * *

Дождь молится на крыше,
под полом — мышки смех!
...Меня никто не слышит,
я слышу вся и всех.

С молчащей колокольни
плывет безмолвный звон.
Струится стих крамольный
из сжатых уст, как стон.

Звучащие, провисли
над миром провода,
кипящие в них мысли
ревут, как поезда!

Окуренные ядом,
деревья бьют в набат.
Рыдают реки рядом,
и рыбы в них вопят.

Гудит земля, как бочка,
вздыхают в ней гробá.
И ветра оболочка
скрипит, как кожа лба.

Скулят белки и соли,
трещит озонный щит...
И, ртом в подушку, совесть
вновь по ночам кричит!

1988

КОПИЛКА УЛЫБОК

Рисунок минувшего гибок,
отчетлив и все-таки мним.
Ах, сердце — копилка улыбок,
застигнутых взглядом моим!

Улыбка дитя в колыбели,
улыбка зари на реке,
улыбка заснеженной ели
и — огонька вдалеке...

Улыбки как добрые вести.
Но были — оттенков иных:
из лести, как будто из жести,
из мести... Из смыслов дурных.

Но чаще — по светлой причине:
улыбка асфальта в росе,
рассвета на горной вершине,
лица — в промелькнувшей машине
сей миг, на пустынном шоссе.

1988

* * *

Уёмней сердца пыл,
рутинней блеск идей...
Я правила забыл,
как жить среди людей.

Я так ушел в себя,
в слои былых культур,
себя в себе дробя,—
что притупился бур.

Но жизнь свое взяла:
весь в паутине дум,
я вышел из угла
за дверь — на жизни шум.

Шел дождь. Сквозил рассвет.
Линял Господень сад.
Как миллионы лет
и зим — тому назад.

Старик — в руке клюка —
мелькнул под фонарем.
Лишь запах табака
напоминал о нем.

1988

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Я кричу тебе: «Здравствуй!» —
стараясь разжечь
разговор между нами, а ты — холодна.
Что стряслось?
Телефон исказил мою речь?
Ты меня не узнала? Ты что... не одна?
Разлюбила? Скажи. Я уже не боюсь.
А в ответ: «Не-на-ви-ижу...»
Хвала небесам!
Я-то знаю, что ненависть — прочный союз.
Не чета голубым или розовым снам.

1988

* * *

Ветер — снег с ветвей огрузших
взял и сдул, как пух-перо, —
значит, он не только рушит,
но и делает добро.

Даже камень, мертвый камень,
что угрюм, упрямя, сутул,
для того, кто слаб ногами, —
все равно что мягкий стул.

Даже воды — неумело —
первых несколько минут
вытесняют наше тело,
от захлеба берегут.

Кто сказал, что плохо было
нам,
 что зло — сильнее добра,
если все, что было, — сплыло
из сегодня — во вчера?!

1988

* * *

Восславим свежий хлеб, газетный лист,
конкретной электрички бег и свист,
глаза сиюминутных Афродит...
А прошлое лишь душу бередит.

Очнемся — не от запаха мимоз —
от ностальгий, сосущих кровь и мозг,
от поминальных вздохов по Руси —
она жива. И *не* на небеси.

Жива в глазах приютского дитя,
в тоске пропойцы, снятого с гвоздя,
в забытой бабке в мертвом хуторке,
а не в спортсмене с гирею в руке.

Она жива... Но скорбен древний лик.
Дадим ей хлеб (а смысл ее велик).
Вернем улыбку в блеклые уста.
Побег из сна, как снятие с креста.

Пришла пора — проглянул в снах предел.
Преображение — вот ее удел.
Пришла пора — веление судьбы —
опять вздымать Россию на дыбы!

1987

В ПУТИ

Душа болит или.. болеет?
Рассвет наступит или нет?
Покуда ждешь — нутро истлеет.
Ночь неподвижна, как предмет.
Но вот, дрожащий, будто жилка,
трепещет свет в чужом окне.
Там человек. Пред ним бутылка.
Лицо как фото на стене.
Стучу в окно — лицо недвижно.
Стучу сильнее — нипочем.
Сквозь стенку радио чуть слышно
хрипит, неведомо о чем.
Иду к порогу. Двери настезь.
Зайти, проведать молодца?
А что сказать, помимо «здрасьте»?
А вдруг нарвусь... на мертвеца?!
Корова дышит, овцы блеют.
Дворовый пес молчит в ответ.
Душа болит или — болеет?
Рассвет наступит или нет?
...Пойду стучаться в сельсовет.

1988

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

Россия — единое целое.
Но в заспанном сердце ее
то красное вспыхнет, то белое!
То кровное жжет, то — ничье.

За прошлым грядущее гонится, —
приспичило марши играть!
И вот уже красная конница
несется на белую рать.

На что разрешение выпадет —
о том и молчим, и поем.
То кровушка белая выпита,
то кровушку красную пьем.

А ежели драться не велено —
ударимся в сон-тишину...
И вот уже беленьким, беленьким,
как снегом, заносит страну.

...Но, вычерпав время напрасное,
над белым, чью грязь не отмыть,
мы будем оплакивать красное
и маршами душу томить.

1988

В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ

Листва полуопала,
экскурсовод толков.
Собор Петра и Павла —
прохлада трех веков.
Высокие могилы,
Петровский саркофаг.
Все каменно-уныло,
все было, да не так...
А во дворе булыжник, —
в лодыжке боль крута!
Вот движется подвижник
желудка-живота.
Вид колокольни постный
и аскетичен дух.
Вот катится апостол
румяных молодух.
На плитах — листья, лужи.
Мечты обнажены.
Вот шествует послушник
ученья сатаны.
Небесный свод распорот,
в прорехе — синева.
Здесь начинался город,
училась жить Нева.

Листва полуопала,
редеют голоса...
Собор Петра и Павла
уходит в небеса.

1988

* * *

Цепенеет осенняя муха
между рам — в прошлогоднем тепле.
Там ей будет и сонно, и сухо
дождь и снег наблюдать на стекле.

Цепенеет продрогшая воля
в ветхом кресле под смутным окном.
Там ей будет светло и не больно
отвыкать от судьбы перед сном.

1988

ОРНАМЕНТ

Чугунная мокнет ограда,
чернея сквозь снег бытия.
Взгляни проникающим взглядом
на все ухищренья литья.

Вот как бы цветок семикрылый,
а вот завитушка... А вот...
Как вовремя снегом накрыло
весь этот чугунный кроссворд.

Присядем. Пушистые рейки.
Предзимняя прелесть скамьи.
Украдкой вахтер в телогрейке
оценит движенья твои.

А рядом, снаружи ограды,
темнее, чем наша тоска,
вдоль клетки оглохшего сада
неслышно крадется река.

1988

СОРОКОУСТ

Какое сказочное слово —
Сорокоуст! Букет из губ.
Не смысла груз, не грусть-основа —
мне строй его музы́ки люб!

Сорокоуст! — рокочет слитно.
Как струны или провода...
Не поминальная молитва,
а Слово, снятое с креста!

Живое, сущее, густое,
колючее — терновый куст,
дыханьем жизни налитое
и — жгучим хладом смертных уст.

1988

* * *

И. Кузьмичеву

Раздвинулся лес, разбежались кусты,
трава на пробор расчесалась тропюю,—
я вышел к реке постоять у воды,
как мамонт невымерший — к водопою.

На том берегу голубело шоссе,
едва различимые, мчались машины,
и дачи теснились, и прелести все
ракетного века — росли из долины.

А здесь, за моею спиной,— тишина
смирненно дышала, как время былое,
как ставшая болью сердечной жена,
как память, склоненная пред аналоем.

На том берегу копошился народ,
и мыла Марусенька белые ноги...
И кто-то усердно копал огород,
как будто могилу минувшей эпохе.

Я знал,— я от жизни немало вкусил,—
что надобно — к людям! Что время другое...
Но — не было лодки. И не было сил.
А главное — песни над светлой рекою.

1989

ТОНКАЯ РЯБИНА

Рассказ шофера

Лишних слов не тратил
на печаль, на пьянку,—
на Колымском тракте
он крутил баранку.
Речи вел вполсилы,
слог — не скуп, не весел,—
что-то в нем сквозило
от ямщицких песен...
«Я отца не помню.
Помню маму Свету,
стол, весельем полный,
музыку, Победу!
За окном раскаты
долгого салюта,
речи и плакаты,
и... пельменей блюдо.
И... тушенки банку!
Мать, согнувши спину,
пела под тальянку
«Тонкую рябину».
Помню мамы позу.
Инвалида Лешку.
Как катились слезы
на его гармошку...»
...Замолчал. Без фальши.
Подкачали силы.

«Что же было дальше?» —
мы его спросили.
«Дальше было хуже,
вот какое дело...
«Горькую» по муже
каждый вечер пела.
А потом уж скоро
и засохла, братцы...
А ведь ей в те поры
было только двадцать!»

1986

* * *

В полдневный жар, в долине...

М. Ю. Лермонтов

Был розовым мир: небеса
и горы, когда поневоле
залитые кровью глаза
открыл он, очнувшись от боли.
Долина, где юный солдат
на острой щебенке томился,
шепнула ему: «Супостат,
зачем ты сюда заявился?» —
«Так вышло... Не чаял беды.
Солдат я... Сказали: так надо».
И детский пушок бороды
мерцал на лице «супостата».
Но вот он забылся опять,
чтоб где-то, в далеком и целом,
увидеть и робко обнять
какую-то женщину в белом.
Как шла она, в травах скользя,
навстречу, навстречу, навстречу!
...Его подобрали друзья
и молча взвалили на плечи.
Он выжил. Он стал понимать.
Но долгим сомнение было:
в долине пригрезилась мать
иль та, что его... не любила?

Он выжил, он на ноги встал.
Он взрослых спросил неумело:
«За что же я кровь проливал?»
О, если б — за женщину в белом!

1988

ПРИТЧА О ПЕРВОПРИЧИНЕ ЗЛА

Очнулся на больничной койке.
«Дышу! — подумал. — Повезло».
Затем, измученный, но стойкий,
спросил: «Откуда в мире — зло?
А что, — вздохнул, — имею право
спросить: страдал, сбивали с ног, —
война, тюрьма... Любовь-отрава.
И — на краю! И — одинок...
Кто виноват, что я печален?
Что совесть... меньше на размер?
Кто лихоимец? Гитлер, Сталин?!
А может, — вовсе Люцифер?
О, где она, первопричина
всех зол земных, владевших мной?»
...И тут расслабленный мужчина
рванулся с койки — в мир иной.
Но в те расстанные мгновенья,
что нам даются, как венец,
ему пригрезилось виденье:
одно из множества сердец...
Все в язвах зависти кислотной,
в рубцах тщеславия, в слезах
неверия, в тоске бесплотной —
оно висело в небесах.

И голос был как запах серы,
как эхо дна — в небесну высь:
«Соль зла в твоём гнездится сердце,—
взгляни в него — и ужаснись».

1988

УЛЫБКА НЕВИННОГО

Уже в дверях прихожей
на фоне тьмы ночной
он оглянулся все же...
Но — вяло, как больной.

Взирая покаянно
на мир, что посетил,
он улыбнулся странно,
как будто всех простил.

Те двое, что развязно
пришли за ним к нему,
покашливали страстно,
маня его во тьму.

Жена, сцепив ладони,
теряла цвет лица.
Скрипели снегом кони
у мерзлого крыльца.

...По чьей, по чьей ошибке
(измыслить не легко)
владелец той улыбки
уехал далеко?

Но свет улыбки бедной,
питавшей вдовьи сны,
возжег румянец бледный
на сумерках страны.

1988

КАК ЗНАТЬ...

Среди долины ровныя... В степи —
остатки глинобитного барака.
Поросшие бурьяном годы мрака —
фундаменты, могилы... Память, спи,
не извлекай из недр небытия
видения, что совести противны:
бараки, вышки, городок спортивный...
У бесовщины летопись — своя.
Что было здесь? Родник или рудник?
Поселок населенный, некий пунктик?
Как знать, как знать. Не огорчайся, путник,
что в эти знаки мерклые не вник.
Здесь государства таяли, как снег.
Врастал ковыль в иссякшие столицы.
Забвение! Пускай оно случится
и с вышками... Надолго ли? Навек!
...Как знать, как знать... У памяти свои
законы и пути. Учтем, допустим.
Я и не знал, что в этом захолустье
щебечут, как на Невском, воробьи.

1986

БЕЗЫМЯННЫЕ МОГИЛЫ

Несравнимые страдания —
муки мертвых и живых,
хоть в пределах мироздания
народилась правда их...

...В тишине лесной унылой,
там, где мох в планету врос,
есть безвестные могилы
без крестов и красных звезд.

То есть — есть и как бы — нету...
Заросло. С землей слилось.
Слой за слоем, лето к лету,—
жмет копытом тяжкий лось!

Ах ты, время, зверь косматый,
ты раскрой пошире пасть,
расскажи — каким ребятам
здесь пришлось во мхи упасть?

...Вот насупилась природа,
ухнул филин в барабан:
«Здесь лежат враги народа —
из рабочих и крестьян.

Те, что ладили заводы
и водили корабли,
те, что хлебушек, как роды,
принимали у земли.

В тишине прохладной древней,
где цветок весны воскрес,
превратила их в деревья
сила щедрая Небес!»

1988

ТРЕТЬИ

Памяти мирных граждан войны

Участникам войны — почет и ордена,
смерть и бессмертье,
а на долю третьих
(в борьбе сторон — есть третья сторона),
на долю третьих —
лишь ухмылка смерти.

А если — жизнь, то чаще без отца,
без дома, без любви,
с душою инвалида...
Участникам войны,
тем, кто глотнул свинца,
и тем, кто не глотнул,—
и слава, и эгида.

Жить под эгидой подвига — одно.
Жить под опекой ужаса — другое.
Участникам войны завидовать грешно.
А третьим...
Вот ведь дело-то какое.

1988

КОПЫТЦА

Не по бумаге — по огню
пишу, и пальцы в волдырях!
Как вдруг — копытца... Их возню
в передней слышу! Здравствуй, страх.

Зачем подкрался ты ко мне
из-за спины и наблюдал,
как я на мысленном огне
слова молитвы начертал?

Запечатленная едва,
строка скукожилась в комок.
И тут же вспыхнули слова,
смердящий выстрелив дымок!

...Что это было? Порча, сглаз?
И отчего восторг погас?
И чей там смех стеклянный пуст,—
как бы распалась нитка бус?

1986

ЯНВАРСКИЕ ЯМБЫ

Шагнуть с крыльца на белый прах зимы,
во мрак, в пространства, пренебречь доро́гой
и медленно, как входят в высь дымы,
терять уверенность —
без правды, как без Бога.

Паниковать, но медленно, не вдруг,
покорно замерзая у порога.
И слышать страх. И знать, как он упруг.
И как его в озябшем сердце много.

1986

МОНУМЕНТЫ

Особенно зимой, когда на площадях метелица, а в сквере запустенье, когда на бронзовых глазницах и грудях распространится инея цветенье,—

как жёлки ваши полые тела,
покрытые зеленкой трупных пятен,
в потеках голубиных, в метах зла
беззлобного, чей принцип столь невнятен.

Вот дедушка Крылов, вот с рожками сатир,
вот Афродита с патиной на ручках,—
как робко вы сейчас взираете на мир,
бездомные, и в снежных нахлобучках.

...Вот бабушка с клюкой, живая, через сад,—
скрипят ее шарниры, ноют кости,
но вечным бытием ее пропитан взгляд,
и зябко ей меж вас, как будто на погосте.

1986

* * *

Горят глаза, шипят уста,
хрустит ладонь, как лист капустный.
Все, все на свете — суета:
наука, золото, искусство;
желанный труд — напрасный труд...
Не оттого, что манит бездна,
не потому, что *все* умрут,
а потому, что... я исчезну!

1988

БЕССОННИЦА

Бессонница, дарящая часы
безвременья... Часы ночной пустыни.
Спит бытие, и все его азы
обнажены, как краски на картине.

Вот — воздух, вот связующая тьма,
вот тишина, а вот глубинный шорох.
И вдруг — как будто грустного ума
мерцание! — звезда в разрыве шторы.

Как беззащитна спящая земля,
ее лицо в испарине тумана...
И все как будто заново, с нуля:
кровь не лилась, не разрушались страны,

не подминали почву города,
меж злом и благом не было порога,
земля не ведала разумного труда,
ни памяти людской, ни воли Бога.

1988

СИРОТСТВО МЫСЛИ

Вдруг стало сознанию тесно,
земная рассыпалась власть,
разверзлись небесные бездны,
и мысль — в глубину унеслась!

С тех пор, за порогом Вселенной,
над царством бесчувственных звезд,
она пребывала нетленной
в краю упований и грез.

А где-то, под глубиью и высью,
в игрушечном царстве земном
стоял он, расставшийся с мыслью,
и думал о чем-то другом.

О хлебе насущном — о прозе, —
о пользе любви и труда...
И лишь об утраченной грезе
не думал уже никогда.

1989

В ВЕСЕННЕМ ЛЕСУ

Майский, в подснежниках белых,
полюй, безъягодный лес.
Прячет гадюка умело
в травах — извивы телес.

Ниже волос новобранца
низкие травы в лугах.
...Помню, явились германцы
летом — в больших сапогах.

Правда, не долго гостили, —
до отрезвления в умах.
Глубже их в лес не пустили.
Страшно в российских потьмах.

...Словно в дубовой кадучке,
в рыжем лесном озере
сладко распелись лягушки —
каждая в рясном чепце.

Птицы в распахнутом храме
леса — как звон бубенцов!
Сяду на плашку и маме
вдаль напишу письмецо.

БАБА ДУСЯ

Как выглядит столетие — живьем?
Довольно неприглядно, если верить
своим глазам... Так выглядит проем
в порожнем доме — выломанной двери
или окна. Зияющая скорбь.
...Нет, нет! Всё проще. И в изящном вкусе.
Платочек ситцевый, как снег вершинный
с гор,
под ним — глаза крестьянки бабы Дуси.
Глаза глядят. И видят. Глубоки.
И все еще синеют в помощь лику,
как меж страниц бессмертных васильки,
заложены в апостольскую книгу.
Под бабушкой, седая от дождей,
завалинка на улице порожней.
Есть улица, и нет на ней людей,—
лишь петушок, поющий все безбожней!
И дельце есть у Дуси: огород.
Но прежде... И, слегка раскрючив спину,
идет к соседке — та уж не встает.
Но вряд ли стоит довершать картину...
Тогда откуда благовест в груди,
не умиление — отблеск благодати?
Как выглядит столетье во плоти?
А так и выглядит, как вылепил Создатель.

1989

* * *

Весна — преображенья институт!
Вновь сердце бьется незнакомо.
Как страстно в мае яблони цветут,
озвученные рвеньем насекомых.

Вчера гроза крутилась возле нас,
вращалась туча, по-медвежьи, вязко.
И гром рычал, и град пускался в пляс.
И я смотрел в цветущий мир с опаской...

Но лепестки держались молодцом!
Что значит — юность! Жажда процветанья.
Сад устоял под ледяным свинцом,
как звездный сад, венчавший мирозданье.

1988

ПРОЕЗДОМ

Пережидая счет кукушки,
сказал, сведя морщины лба:
«Прощай, береза на опушке,
и вы, озимые хлеба...»

Потом с улыбкой сел в машину,
потом притих, как задремал.
Березы шаткую вершину
в обратном зеркальце поймал.

Опять сказал: «Прощай, береза!»
«Прости,— добавил,— подлецу...»
И непролившиеся слезы
рывком размазал по лицу.

1988

РАЗМЫШЛЕНИЯ
НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Вот газеты хрустящие,
вот журналы... А тут,
а из этого ящика
ничего не берут.

Под завязку насовано
извещений, газет,—
сколько смысла спрессовано,
а хозяина нет.

Хорошо, если в отпуске,
где-нибудь у реки:
в берег удочки воткнуты,
ни забот, ни тоски.

Настоящее — скомкано,
сплыли дети, жена...
Из его однокомнатной
бьет под дверь тишина!

Кто он в жизни вещественной?
Плоть в потертом пальто?
На звонок мой «общественный»
не ответил никто.

1988

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ

Среди космодромов, погостов,
проспектов с бензинной тоской
душа — обитаемый остров
в пучине житейской, мирской.

На острове этом безвестном
цветут размышлений сады,
и звуков музыки небесной
висят кружевные мосты.

Там странствуют светлые тени
бессмертных друзей и подруг.
Там пляшут скульптуры растений,
и дней замыкается круг.

Там все неизжито и остро —
всей жизни былой аромат.
Душа — обитаемый остров!
А тело — ее автомат.

Там, в травах ночных увязая,
с лицом, утомленным извне,
владычица сердца, босая,
идет через вечность ко мне.

1988

ДРУГИЕ ДЕТИ

Курортная зона. Карельские сосны.
Асфальты, текущие к югу в жару.
Курортные дети и несколько взрослых,
пасущих орущую детвору.

И дети как дети... Вот только смеются
не часто. И как-то смеются... смешно.
Испуганно, что ли. Косясь на начальство,
смеются... А плачут — бесстрашно, вольно!

И сети забора в их зоне тугие
и выше, чем сети завода «Пишмаш».
И дети как дети, а все же — другие.
Лишенные óка папаш и мамаш.

Вот за руки взялись. Вот песенку ловко
схватили зубами, как хруст леденца!
И сонного солнца всезрящее око
следило за ними глазами творца.

1988

МИРАЖ

Случалось вам, блуждая в глухомани,
в безлюдье севера, одетого в тайгу,
в просвете меж стволов, как будто на экране,
увидеть мертвый город на снегу?

Не теремá, не шпили колоколен,
не гряды стен вокруг монастыря,—
советский Китеж, призрак поневоле,
без сердца возведенный, то есть — зря?

Лучатся трубы в инее шершавом,
ржавеют башни, стынут корпуса...
И никого-о на улицах державных,—
ни топа ног, ни скрипа колеса.

И ты стоишь, как гость инопланетный,
крича без отклика: «Всевышний, оживи!»
И плакать надобно. Но плакать безответно
не можешь ты, как верить без любви.

1988

СТРЕЛЬНИНСКИЕ РУИНЫ

Возле Финского залива,
там, где Стрельны пустыри,
где пьянчужки шаловливы
и побиты фонари, —
есть кирпичные руины...
Там развалин сырь и стынь,
небывалые картины —
виды рухнувших твердынь.
От былых великолепий —
только ярость кирпича,
только смрад, рожденный в склепе,
только уханье сыча.
Оттого ли, что вельможи
попирали здесь мораль,
их дворцы теперь похожи
на безмерную печаль?
В чем тут дело? Чья тут сила?
Кто низверг хоромы те?
...Что-то дерзкое сквозило
в их погибшей красоте!

1988

* * *

Великая радость — весна.
Как жили мы горько и глухо.
Сколь зимняя шкура тесна
природе воспрявшего духа.

Шоссейные, пьют тополя
октановый соус из лужи.
И все же не меркнет земля,
пославшая зелень наружу!

Подснежник, сквозь зимние сны,
весь вспыхнул, рождением мучась!
Как после такой новизны
роптать человеку на участь?

Недавних полей белизна
еще холодеет во взоре,
но вскоре сойдет и она,
как клякса снежка на заборе.

1988

СТАРОСТЬ

Смиренно-согбенна спина,
во взгляде — ни тени коварства...
И если уж детство — страна,
то старость — само государство.

Завалинка, лавка, скамья,
шершавый пристенок проспекта,—
у старости сфера своя,
свое неформальное гетто.

Забытое царство теней,
свои уложения и гимны.
Зачем автономии ей,
когда они сердцу противны?

...Со временем выстроят дом,
светлей и вместительней прочих,
и спрячут, хозяйственно, в нем
миллионы ничьих одиночеств.

И улица будет чиста,
и лавочка станет порожней...
И в юных глазах пустота —
еще холодней и роскошней.

1988

* * *

Наступит срок, и всяк себя покинет,
как комнату, где дух жилой исчез,
чтоб вновь возникнуть где-нибудь в Пекине
лет через сто — на улице Чудес.

Чередованье вещего с насущным,
проникновенье в тайну, как во мрак.
И вновь — на свет! В компанию живущих,
в какой-нибудь вигвам или барак.

Спасительная смена тьмы и света,
перемещение в некие края,
дабы однажды тихо выпасть где-то
сухим цветком — из книги Бытия.

1988

ВОСВОЯСИ

Среди отчужденья и мрака,
ночных кирпичей и желез
последняя в мире собака
уходит из города в лес.

Рожденная слепо и скоро,
но мудро, а значит, всерьез,
от нищенки тощей и вора,
что приняли смерть от колес.

Глаза ее грустью повиты,
мерцают сквозь шерсти бурьян.
Но сердце не знает обиды
за весь обретенный обман.

Захлопнуты двери парадных,
зашторены окна... И прочь
уходит собака обратно —
к сородичам — в волчью их ночь.

Туда, где весенняя гулко
сквозь рощу грохочет вода!
Но прежде — в последнем проулке —
она постоит у куста.

И, взгляд устремляя свой хрупкий
в термитно-бетонную тьму,
кому-то помашет обрубком...
Вот только неясно — кому?

1988

* * *

С. В.

Пречистый, нетронутый снежный покров,
порожний, насквозь продуваемый лес.
А жизнь состоит из одних вечеров,
из теплых бесед и холодных небес.

Как много на севере места, поверь,
для всех, кто задумчив и мышцей упруг.
А жизнь состоит из вчерашних потерь,
из мертвых друзей и уставших подруг.

Тоскует душа, чем ее ты ни тешь.
Настрою гитару, но... вряд ли спою.
А жизнь состоит из последних надежд
на твой голосок и улыбку твою.

1988

* * *

Валентину Распутину

Иссыкает листва на деревьях.
Дождь в крестьянской блестит бороде.
За деревьями есть ли деревни?
Оказалось, что есть... кое-где.

Значит, можно, гуляя по трассам,
набрести на гармонию в тишине?
Оказалось, что можно... Не сразу.
Как-нибудь. Невзначай. По весне.

Дед глядит виновато и мудро.
Может, помнит семнадцатый год?
Оказалось, что помнит... Но смутно.
Как сквозь дождь... что идет и идет.

1986

* * *

В. Белову

В тех краях живал я смолоду,
пил вино, давил кровать...
Я вернулся в город Вологду —
в России побывать!

Каждый день расписан настрою:
храмы, клубы, монастырь...
Водят под руки, брыластого, —
ухарь был, а стал — пузырь.

Что случилось? Дух размеренней:
где восторги до небес?
Не бойсь, ответствуй... Берю
в преисподней жарит бес!

Сердце бьется планомернее,
мысль крадется, аки тать!
...Вологодская губерния,
дозволь долги отдать.

Все, что в юности, романтиком,
нахватал, — вернуть готов:
неподдельных слез брильянтики,
нескушную любовь!

1989

* * *

Юрию Паркаеву

Заунывно, как ветер в трубе,
то как волк на луну завывая,
мы слагали стихи о себе,
о печалях родимого края.

«Сколько можно,— корили меня,—
дохлой песенкой сердце лохматить?
Не пора ли к машине — с коня?
Голосить по покойнику хватит!»

...И, случалось, замолкнешь на миг.
И смущенно под дудку чужую —
даже спляшешь. Но истины лик
вновь проглянет сквозь муть неживую.

И затянешь — душа на куски! —
все о том же, о той же печали...
Потому что от сладкой тоски
только горькая смерть отлучает.

1988

МУЗЫКА

Касаясь при жизни всего понемногу,
однажды подумать в концертных слезах:
«А все-таки музыка — ниточка к Богу!
Связует! И мы забываем свой страх...»

Веселье прокиснет. И радость прогоркнет.
И сухо на сердце. И холод в глазах.
Но музыка добрые слезы исторгнет!
И чаши качнутся на судных весах.

1988

* * *

Георгию Свиридову

Оргáн в соборе, скрипка в кабаке,
заплывший в песню голос вдалеке...
О музыка, над вечностью туманной
желанна ты, как жизнь... на волоске!

Струны стенанье, флейты полубред,
вселенского оркестра звездный свет...
О музыка, в удел обетованный
зови меня! В молчанье Бога нет.

1986

* * *

В созревших семенах травы,
в зерне — в остатках урожая —
жируют мыши. Плоть ботвы
висит, природу украшая.

В кормушке хлопоты синиц,
там шпиг — как камушек кресала.
Там пара птиц склонились ниц
и клювы погружают в сало.

Там человек в очках во мрак
глядит без тени укоризны.
То — Заболоцкий. Он — чужак.
Он принял муки в этой жизни.

1988

АННА

Был какой-то период — не в жизни,
а над нею — в мерцании звезд,
в доцветании ангельских истин,
в Комарове, в Рождественский пост.

Восседала в убогой столовой,
как царица владений своих,
где наперсники — Образ и Слово,
а корона — сиятельный стих!

В раздевалке с усмешливой болью,
уходя от людей — от греха, —
надевала, побитые молью,
гумилевского кроя меха.

И вздымался, по-прежнему четкий,
гордый профиль, таящий укор.
...Как ступала она обреченно
за порог, на заснеженный двор.

Уходила тяжелой походкой
не из жизни — из стана людей,
от поэтов, пропахших селедкой,
от терзающих душу идей.

Провожали: не плача — судача.
Шла туда, где под снегом ждала,
как могила, казенная дача —
все, что Анна в миру нажила.

1988

В. М. ШУКШИНУ

В Москве на съемках, в павильоне,
в киношном мире, как в бульоне,
среди лицедеев — новичок —
варился этот мужичок.

Среди красавцев и красавиц,
как меж волков — летящий заяц,
забавный — ухо на плече,
улыбка — песня при свече.

Так, в сапожонках на резине,
на совести — не на бензине,
пешком, тишком, в венце двух лир
Шукшин ворвался в этот мир!

И с этих пор мерцает зыбко
его сиротская улыбка
с экрана Памяти, из книг...
Он в нашу боль живую вник.

...Однажды ночью на дороге,
там, где алтайские отроги,
мою машину — вещий знак! —
остановил один чужак.

Нет, он не сел ко мне в машину,
он указал мне на вершину:
«Там...» — прошептал он сквозь года.
И я пошел за ним туда.

1986

НИКОЛАЮ КЛЮЕВУ

Зашаталась ель шатровая,
враз померкли фонари.
Вьюга волчья, нездоровая
засопела в две ноздри.

Глянул я: не видно города.
Все враспыл, к чему привык...
Мгла за окнами распорота,
словно треснул пуховик!

И как будто зубы лязгают,—
кто-то в рамы стук-постук!
Пальтецо накинув ласково,
выхожу. Фонарь потух.

А под елью, как под куполом,
в подпояске нитяной,
в колушке, у вьюги купленном,
странник пляшет, несмешной.

Лупит валенком по валенку,
мнет под елью белый прах.
И мерцает ротик аленький
в бороде, как лютый страх.

Посыпает странник песенкой,
льет частушкой, как в кино...
А глазам его невесело.
Не теперь — уже давно.

Очи cedят расстояние...
И в зрачках — как в небесах —
ледовитое сияние!
Млечный иней на усах.

1986

СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ

*Есть в России заслуженный профессор
Иван Степанович такой-то...*

А. П. Чехов

Вился снежок, шуршал о рамы,
пылал камин в вершке от ног.
Вершились судьбы, фарсы, драмы,—
работал мозг... И вдруг — звонок!
Об эту пору гости — редкость:
едва забрезжил вялый день.
В передней — голос! Юный, грешный.
Из тех, таящих боль и тень...
Актёрка? Барышня-курсистка?
«Прошу»,— подвинул венский стул.
«Вы — мой кумир! — и дышит близко.—
Мне страшно жить! Я слышу гул —
не моря... Смерти! Ах, поверьте,
я не кривляюсь... Смысла нет.
Скажите, в жизни, кроме смерти,
есть что-нибудь?!» — и ждет ответ.
...Ах, юность, юность... Блеск снежинок,
растаявших в пожаре щек!
И тут руками — без ужимок —
развел ученый старичок.

«Не знаю, право...» —
«Значит — нету?!»
Ушла, изникнув головой.
И по звучащему паркету
ее шаги, как вьюги вой...

1986

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

Духовной жаждою томим...

А. С. Пушкин

Возок, катящийся неровно,
пыль позади него, как дым...
Блажен, кто с жаждою духовной
в пути своем неутомим!

Текут избышки, перелески.
А кто седок? Каких слоев?
И почему — не Достоевский?
Или — Владимир Соловьев?

Вот, как в театре — чуть искусней, —
под пологом голубизны
мирским глазам предстала Пустынь,
как чаша с грузом тишины.

Монастырек, обитель, крепость,
и шапки храмов, и покой,
и нерасплесканная трезвость,
как зной, застывший над рекой.

И островерхих сосен проседь,
и писк песчаной колен...
И старец — мыслящий! — Амвросий
ведет в узилища свои.

Улыбку смяв, смиренно-строго
приезжий станет на постой.
Он — это Пушкин или Гоголь,
а может... просто Лев Толстой.

О, камни духа! Сердце ахнет,
окинув крепость взором тьмы.
Здесь русский дух, здесь смыслом пахнет!
Здесь — черви мы, здесь — боги мы.

...Песок и мы. И, словно кара,
зной, приручающий к тоске.
И наш автобус, наш «икарус»,
забуксовавший в том песке.

1986

ГРУСТНАЯ ПОВЕСТЬ

День гаснет... Я пишу слова.
Успеть бы! Длинновато слово «здравствуй!».
В прозрачной ручке иссякает паста:
на сколько слов осталось вещества?

В пустой деревне, в брошенной избе,
где нету лампы (свечку съели мыши),
успеть бы засветло, покуда сердце слышит,
поведать сокровенное тебе —

о ней, мой друг, в которой нет огня,
об этой встречной мертвой деревушке,
где некогда стоял в раздумье Пушкин
и дальше ехал, поменяв коней.

1988 •

* * *

Юрию Казакову

Над рекой, над забытой рекой,
где уже не поют пароходы,
в грубом свитере, с мышцей тугой,
он стоял и курил без охоты.

И зияла пустая изба
у него за спиной... И скулила
на заржавленных петлях судьба,
выводя, как нечистая сила.

Легкий пух на его голове
шевелился от позднего ветра.
И задумалась мышка в траве,
приподнявшись на два сантиметра.

Из-под свитера вдоль по спине
уплывало тепло... И, нарядный,
за рекой, на другой стороне
хлопотал голосок невозвратный.

1987

* * *

Д. С. Лихачеву

В Комарове, где воздух брусничный,
а деревья как тени друзей,
я встречал эту светлую личность
и тянулся к ней совестью всей.
Нам эпоха лицо исказила.
Память никла, от крови слепа.
Едирила нас высшая сила! —
незабвенной России судьба.
Было время больным, обреченным,
на ветру коченели умы.
Но изящная мысль Лихачева
возникала свечою из тьмы!
Прожигала неверья поземку,
разгребала забвенья бурьян,
освещала родные потемки
в глубину — до истоков славян.
Просвещенная совесть не ропщет, —
беспечальная цель у нее:
быть не ключником памяти общей,
а — хранителем правды ее.
Комарово... Поет электричка,
ниже — пляшет морская вода.
И долбит энергичная птичка
ствол сосны, как считает года.

Мы уходим в былое, как в пламя,
будем грезить до Судного дня,
в час, когда просвещенная память
извлечет наши сны — из огня.

1986

* * *

Вадиму Шефнеру

В разгар зимы в вагоне зыбком,
взъерошив перья воробьем,
он вдруг сказал, сверкнув улыбкой:
«Давайте, граждане, споем!»

Ни та в манто, ни тот в шинели
призыв шального бодрячка
не поддержали, поскучнели,
как будто... вымерли слегка.

«Чудак какой-то!» — шорох мнений.
«Артист!» — «Алкаш...» — «Он что —
всерьез?»

Как мы боимся откровений!
Как будто крови или слез.

Спеша забыть о человечке,
все отвернулись от него.
Он вышел где-то возле речки —
под снег, под сумерки его.

Он в лес направился, к деревьям,
он песню пел, шуршал тропой...
Он был какой-то давний, древний,
еще умевший быть собой.

1986

* * *

Руины тьмы ночной
на тлеющем рассвете.
В них притаился зной,
как музыка в кассете.

Назавтра, час пробьет,
нажмет на кнопку птица —
и солнце запоеет!
И сущее — продлится.

1988

* * *

Из года в год — знакомый вид:
желтеет лес, ясней просторы,
поля буреют; москочит,
захлопнув дачу, едет в город;

с обеда — дождь, пышнее грязь,
забор в потеках, слово круче!
И вдруг — откуда ни взялась! —
ползком на синем брюхе — туча!

Все подминая под себя,
свистя воздушною подушкой,
ландшафты жизни теребя,
ломает ход вещей послушный...

И вот уже кленовый лист —
как слепок с... Греции, как карта.
И я, завзятый классицист,
за процветанье авангарда!

1988

КРИТИКАМ

Нам говорят, что мы уже — не те...
Но видит бог, что мы имели дело
не только с временем,
с его прозрачным телом,
но — с жизнью! —
с жизнью в страшной тесноте:
в толпе убийц и сыновей труда,
во лжи, в соблазнах,
в думах о прекрасном,
в лучах любви, что грела нас
и гасла
на дню сто раз —
на миг и навсегда.
Нам говорят, что мы обречены,
но разве то, что мы на свете жили, —
не ярче вечности,
ее бессмертной пыли?
Нам говорят...
А мы всё ждем весны.

1988

* * *

От напора взноют двери,
и войдет он во хмелю!
Неудачникам — не верю.
Невезучим — пособлю.

Будет нагло или слезно
обвинять и проклинать
вести, власти, твердь и воздух,
даже собственную мать.

Все надрывно, все истошно!
Пошумит и — все вранье.
И вальяжно, и безбожно
примет божье за свое.

Кофейку глотнет, покоя.
Сникнет, сжалась над собой.
...А удача — что такое?
А удача — это бой.

Это — каторжная доля,
за спиной судьба, как воз.
...А восторги, ласки, воля?
После жизни. После грез.
После, ежели — всерьез.

1986

* * *

Сопят, прильнув к бумаге,
не кавалеры масс,
а колдуны да маги,
иезуиты фраз.

Желательно про Ленку
со стройки, с Иртыша,
а колдуны нетленку
рифмуют не спеша.

Хотелось бы в тумане
увидеть Светлый Путь,
а вещуны шаманят
о чем-то — как-нибудь.

Желательны протесты
бездушью, чванству,— злу,
а создаются тесты
и жесты — ни к селу...

Витийствует над прахом
созвучий — вороньё.
А надо бы — о Правде,
о воинстве ее!

1986

* * *

Юрию Кузнецову

Чем утешаете себя,
скажи мне, друг мой или брат,
когда, сомнением дух слепя,
сойдетесь в круг или — квадрат?

Любовью, ароматней роз?
Гордыней, коей правит бес?
Иль, — не стыдясь утешных слез, —
сияньем, льющимя с небес?

1986

ТИХИЙ СВЕТ

Блуждая в житейских просторах
в неверье (ах, истины нет!),
увидеть — сквозь трещину в шторах —
во мрак просочившийся свет!

Внезапно, когда уже вытек
из сердца кристаллик добра,
сквозь вьюгу пролезть и увидеть,
сколь истина жизни мудра.

Не в городе, светом набухшем,
а где-то в полях, на краю,
в окне уцелевшей избушки
подслушать... улыбку ничью.

1986

* * *

Всем уставшим в юдоли земной,
продолжающим мерзнуть весной,
населяющим старость и грусть,
я делишки поправить берусь.

Мой секрет не в гимнастике, нет,
не в томленьи от постных диет,
не в учениях мира всего,
он — в улыбке ума твоего!

Встань пораньше, со стужей смиришь,
о заснеженный март обопрись,
о поленницу дров, о крыльцо,
и, смеясь, запахни пальтецо.

Так как ты, да и я, да и век —
не мудрее, чем воздух, чем снег.

1987

* * *

Все постепенно: красота
подспудно зреет в юном лице,
цветок на куполе куста,
тревога в журавлином клике,
все, все — внутри нас и вокруг —
заботе внимлет безупречной:
не перестраиваться вдруг,
но — совершенствоваться вечно!

1987

ХУДОЖНИКУ-МОДЕРНИСТУ

Художник решил отразить этот мир.
Он страсти такие пролил на холсты,
как будто в мозгу его вызрел вампир
и все исказил до последней черты!

Зачем он старался унизить простор
и цвет обессмыслить? Откуда сей пыл?
Не знал он, что дьявол, прищутив свой взор,
рукою его неразумной водил.

Как можно, вникая в свой смертный секрет
(не просто — в одну из вселенских разлук),
писать без улыбки безгрешный рассвет
и ветра в ветвях фиолетовый звук?

Я знаю: хотел он, коверкая жест,
вниманье привлечь, как поймать на живца.
Но разве гордыня — единственный крест,
что должно нести нам тропюю творца?

Как ясно на сердце. Плывут облака.
Питается прошлое правдой живых.
И ветры, и воды, и взгляд сквозь века
бездонно-прозрачны, как пушкинский стих!

Цветы полевые растопчут стада.
Затмит пролетающий спутник звезду.
Я верю, что правду спасет красота.
Но кто от неправды спасет красоту?

1987

* * *

Проснусь, под краном Богу помолюсь,
вода из Ладоги еще слывет отменной.
И надо же — на улицу стремлюсь,
не в сны, не в грезы — в утреннюю смену,
со всеми вместе, как на стадион,
в лавину, в лаву, в ахнувший вагон,
что накренился от моих собратий, —
туда, в грядущий день,
в тепло его объятий!
Глотнуть мечты, что вяжет мир века
желаньем жить (не дымом табака).
И вдруг посметь — под высью голубой —
остаться в смертном хаосе — собой.

1986

* * *

Тишь разъята, утрачена гладь.
Гей, пророки, живущие в вышних,
вы хотели меня оседлать,
приручить — не по-вашему вышло!

Диковат. Свистопляской влеком.
Не кентавром рожден, не ублюдком, —
гривоструйным сквозным степняком
на пространстве жестоком и жутком.

Глаз глядит бесновато и вкось.
И хрустит под копытами, бьется —
как фарфор — беспризорная кость,
та, что в травах белеть остается.

Дрессируйте живущих с умом,
а меня потеряйте из вида...
Я уже за холмом, за холмом,
там, где в небо уходит планида.

1987

* * *

Я в зеркале себя не узнаю:
тот человек,
что был мне нужным, близким,—
исчез, размылся... Перетек в ничью,
в чужую оболочку, в новый признак.
Так в сентябре,
с крыльца на огород
сойдя обвисло, а точнее — распято,
вдруг понимаешь: мир уже не тот,
и что пришла не осень, а расплата.

1987

* * *

Если думать увечно,
безнадежно, безбожно,—
человечество вечно,
а личность — ничтожна.

Если чувствовать страстно,
без оглядки, без брода,—
человечество — рабство,
а личность — свобода!

1988

* * *

В мозгу — свинец и олово,
от черных мыслей тесно.
Чего-нибудь веселого
сыграйте нам, маэстро!
Чего-нибудь прозрачного,
как ветерок по коже...
Пусть многое утрачено,—
тем легче будет ноша.

...Окаменели столики,
как в состоянье транса.
До скорого, соколики!
До божьего аванса...
До той развилки-просеки,
до высших аттестаций,
где с нас не только спросится,
где нам — за все воздастся.

1988

* * *

Я это чувствовал нутром,
умом — почти уже не верил, —
что все окончится добром,
и мы начнем считать потери,
и воздавать... И мрак в стране
сопоставлять с прошедшей тучей.
Но в глубине души, на дне —
оставим страх... На всякий случай.

1988

* * *

Античность — миф. А жизнь была проста, —
вся в трещинах, как почва или губы,
которые античней звать «уста»,
дабы не столь отчетливо и грубо.

Все эти зевсы с вакхами — мираж,
дань вымыслу и — ворожба искусства.
А жизнь была в трудах убийств и краж,
и праздников! Но чаще было грустно.

1988

РИСУНОК МЫСЛИ

Порой она есть молнии зигзаг,
порой — замысловатая виньетка;
то вдруг замрет, как загнанный рысак,
то вновь снует, как волк, попавший в клетку...

И если разум твой — и зряч, и жгуч,
и щедр, чужие помыслы согревший,
то что есть мысль, как не — небесный луч?
Пусть не от солнца — от звезды сгоревшей!

1988

* * *

Старел асфальт, и ветер гулкий
гонял листву, как помело...
Увеселительной прогулки,
как видишь, не произошло.

Случилось нечто вроде жизни:
асфальт в морщинах — магистраль...
То — солнце яблочком повиснет,
то — «доннер веттер, нох айн маль!».

Ах, эта мерзкая погода,
ах, эта серенькая быль.
И все ж удерживает что-то...
И отрясает с сердца пыль.

И душу трогает, как землю,
то пеплом жизни, то снежком.
И связь одной судьбы — со всеми —
не рвется горьким корешком.

1988

* * *

Редкий, бесшумный предутренний снег.
Желтый, химический свет фонаря.
Первый трамвай начинает разбег
в дымную, смутную явь января.

В сторону юга — любви и тепла —
я почему-то уже не стремлюсь.
Дом за моею спиной как скала.
Там я живу, но туда — не вернусь.

Тень от меня, как футляр, на снегу.
Я уйду — по возможности — в тень.
Жметя она к моему сапогу.
Входит в меня. Переигрывать лень.

Вот и прекрасно: ничто не болит.
Боль моя — тень, шепоток ветерка...
Хочется жить, да Господь не велит:
слишком для этого кожа тонка.

1988

ДВОЙНИК

Не просто похож на меня,—
из той же податливой глины,
из тех же воды и огня —
живущие врозь половины.

Он сеет в душе семена,
он шепчет прелестное слово.
Рассыпья и сгинь, сатана,
изыди из сердца живого!

Отдам тебе опыт земной,
все тайны, что нажиты в теле,—
оставь только душу со мной
и крылья... чтоб мы улетели.

1987

* * *

Хочу вообразить, —
ретивому нейметя, —
как рвется жизни нить?
Но трюк — не удастся.

И в сторону бегу,
цепляясь за любое:
за травы на лугу,
за небо голубое,

за спящие дома
и мертвые каменья...
Не нашего ума —
процесс исчезновенья!

Не нашего суда
сия печаль-забота.
Наш идол — суета.
Жизнь до седьмого пота!

1987

ОЩУЩЕНИЕ БЕЗДНЫ

Это свойственно многим. И — мне.
Чаще — осенью. И достоверней —
в безответной сырой тишине,
в чистом поле, на зорьке вечерней.

Вдруг сознание чем-то затмит,
ощущение времени схлынет,
и душа устремится в зенит,
к центру мира — из горькой полыни.

Обнаружится мрак, и с небес
дождь сойдет на увядшие травы.
И возлягут неслышно окрест —
как на карте — моря и державы.

И, с землею один на один,
точно с камнем, взирающим слепо,
вдруг коснуться бездонных глубин
одинокого сердца и неба.

1987

* * *

Кругами, спиралью, послушно-покорно
земля остывает, студя свою злость.
И камень из нежно-зеленого дерна
наружу торчит, как слоновая кость.

И жизнь происходит на коже планеты,
и входит в белковое месиво дух.
Пастух — очевидец небесного света —
настроил свирель и ласкает свой слух.

И вот уже кто-то с лицом Асмодея
сварил на обед не похлебку, а сталь...
И змейкой в умах заструилась идея,
что все мы равны и бесспорны... А жаль

1988

* * *

Не расплескать... Не воду, не вино,
не молоко, шипящее в кувшине,
не мед, что вызревает в магазине,—
а то, что свыше каждому дано:

огонь любви, свет истины благой.
И так идти — с улыбкой скопидома,
давясь добром, и — не подать другому!
Храни нас, Бог, от мудрости такой.

1987

* * *

Заглохший сад, порожняя изба,
на всю округу — полторы старухи.
Что это — сон? Мистерия? Судьба?
«России нет...» — ползут, как черви, слухи.

Дурные слухи, скверные дела.
Отчизны имя будто плод запретный.
Лети, лети над клевером, пчела,
звучи, звучи в душе, напев заветный!

Все это враки, выдумки, молва,
всего лишь — пыль дорожная над полем.
Мертва — бывая... Вечная — жива!
И выть, как по покойнику, — доколе?

1987

* * *

И где-то за полночь, когда в душе темно,
в год уходящий приоткрыть окно.
Там воздух моря, привкус декабря
и ощущение: жизнь прошла не зря.

Не потому, что спорились труды,
что есть семья, что возвращены сады,
а потому что в воздухе ночном
я вижу нечто под своим окном.

Оно сидит на лавочке сырой
там, возле волн, и кашляет порой.
И круг луны над рубищем... едва,
как будто льет сиянье голова.

1987

* * *

Прелестница печаль,
давненько мы знакомы.
Зайду к тебе на чай.
Любезен мне твой омут.

Поставим самовар,
зажжем свечу-тихоню.
Пускай при свете фар
начнут за мной погоню

делишки и дела,
брамины и бармены...
У скорбного стола
кейфуются отменно!

Сидим... Вопросов нет.
Как нет на них ответов.
Пока над свечкой свет
не станет — горним светом.

1987

* * *

Я в этот город больше не вернусь.
Не потому, что я ему не нужен,
что нет церквей, а также — зимней стужи...
Все эти горы, волны, ветры, лужи —
еще Россия, но уже — не Русь.

Так думал я до нынешнего дня,
когда в порту, у самого причала,
я встретил существо. Оно молчало.
В ручных глазах отчаянье кричало,
все прочее из этих глаз тесня!

Я предложил ей ломтик колбасы.
Она взяла. И сразу стало ясно,
что я не прав: печаль ее не гасла.
Мы одиноки врозь. Увы, напрасно
в моих глазах созрели две слезы.

Она ушла, едва качнув хвостом.
Мы одиноки поро́знь, вот в чем штука!
У нас в глазах одна пылает мука,
одна обоим предстоит разлука,
но одиноки — врозь... при всем при том.

Я в этот город все же не вернусь:
не хватит сердца — пить былую грусть.

1987

В МОРСКОМ ПОРТУ

Дымили дизеля.
Дышали корабли,
движение суля
кочевникам земли.

Витал над бухтой гул,
врастая в жизни ход,
как будто ветер дул
без отдыха весь год.

Как будто там, внутри,
в земле, во чреве недр,
бессменно на пари
работал некий негр —

огромный кочегар
с морщиной на челе.
И шевелился пар —
как смысл — в его котле!

1987

* * *

Случайно или нет, —
конечно, не случайно
была в реке вода
светла необычайно.

И неба синева,
и глаз людских сиянье —
сулили в этот день
с бессмертием слиянье!

И мне — на годы впредь
(впервые от рожденья) —
подумалось, что смерть
всего лишь наважденье,

как греза или сон,
как в голосе простуда,
как облако — невесть
пришедшее откуда...

1987

* * *

Привет скитальцу жизненных морей!
Присядем возле' отчего порога.
Что сделала с твоим лицом дорога?
Оно мертво... Хоть выглядит мудрей.

На нем отметки виз и штемпеля
заморских стран — надежд и обречений,
на нем печати поздних отлучений
и отречений... Кожа как земля,

что не родит... Эффект солончака.
Знать, слишком ветры жгли его жестоко,
знать, горьких слез не выплакано много,
знать, милость Божья — коротка.

1987

* * *

Среди безмолвных книг (их вопиющих душ),
косясь на их шеренги и ранжиры,
ходить по комнате, неся в раздумьях чушь,
и вдруг... заплакать в ящике квартиры.

И, влажной тряпкой пыль стирая с корешков,
вдруг осознать безмерное сиротство.
И с небом, что не знает берегов,
не ощутить ни равенства, ни сходства.

1987

II

Берега

1955-1981



ПОЭТ ИЗ КОММУНАЛКИ

На кухню вызвали поэта.
И подбоченились жильцы.
Соседка пепельного цвета
взяла поэта под уздцы.
Затем на спину взгромоздилась,
затем — пришпорила бока!
Отцы-самцы заходят с тыла,
как безысходная тоска.
«Вы что же, милый, в туалете
не сполоснули унитаза,
и на общественном паркете —
дежурство ваше — ваша грязь!
У вас дебоши каждодневно:
поют, стихами говорят!» —
жильцы притоптывают гневно,
кусить десною норовят.
«Па-ает! Рифмач! Наверно, контра!
Небось похабщина?! Смотр-ри!»
Поэт отрезал руку бодро
свою... Отдал соседке: жри.
Оттяпал ногу по колению
и протянул отцу-самцу.
Затем чугунно-вдохновенно
себя ударил по лицу.
И голова тугим арбузом
упала в мерзкое ведро...

Жильцы ушли с набитым пузом,
их богатырское нутро
не поглотило только — красный,
расплавленный комок в груди...
О, как прекрасно-безобразно
маячит слава впереди!

1957

* * *

Сначала вымерли бизоны
на островках бизоньей зоны.
Затем подошли бегемоты
от кашля жгучего и рвоты.
Косули пали от цинги.
У мух отнялись две ноги,
но мухи сразу не скончались...
И дикобразы вдруг слегли,
еще колючие вначале,
но вот — обмякли, отошли.
Оцепенела вдруг собака.
Последним умер вирус рака.
Когда скончался человек,
на землю выпал толстый снег.
Снег на экваторе искрился,
снег в океанах голубел,
но санный след — не объявился
и шинный след — не проскрипел.
Машины снегом заносило,
торчали трубы — пальцы труб.
Земля утрачивала силы.
Все превращалось в общий труп.
...И только между Марсом, правда,
да между умершей Землей
еще курили астронавты
и подкреплялись пастилой.

Сидели молча, как предметы,
с землей утратившие связь.
И электрического света
на пульте вздрагивала вязь.

1959

* * *

Человек уснул в метро,
обнимая скользь колонны.
От вина его нутро
развезло, определенно.

Ночью выключили свет,
затворили вход и выход.
Кутал спящего, как плед,
продувной тоннельный вихорь.

И всю ночь ему, лучась,
отпускное снилось лето
и какая-то запчасть
от невыигранной «Победы».

И всю ночь, как фараон,
он лежал в своей могиле.
А над ним не спал закон,
оставаясь в прежней силе.

1960

БРИГАДА

Литого Сталина в шинели
пилили ночью, как бревно.
А утром, заспанные, ели,
не находили в жизни цели,
и... грохотало домино!

1963

СУЛТАН

У султана было триста жен.
Был фонтан и голубой бассейн.
Только был он космоса лишен,
не употреблял султан портвейн.

Жаль султана. Звонкий автомат
не выбрасывал ему салат.
Жаль султана. «Красная стрела»
не везла его и не везла.

В США не делал он визит,
где сидит Рокфеллер-паразит,
виски пьет, ест желтое желе...
А султан лежит в сырой земле.

1960

В ЗООПАРКЕ

Мы — обезьяны: я, жена
и наша дочка-обезьянка.
И мы не знаем, чья вина,
что наша клетка — не полянка,
не роща? Что бананов нет,
и что глазают почему-то
на нас... и что народ одет,
а мы же — даже не обуты?
...Задумчив стал отец-гibbon,
скрестил угрюмо ного-руки.
А к клетке шли со всех сторон
его праправнуки и внуки.
Он показал им часть себя,
и часть была того же цвета,
как и флажки, что у ребят,
как некоторые
из беретов.

1957

ЗЕМЛЯ

В минуты безбожья

Круглая, и нету ей врача,
если заболит почему-то...
Мне все чаще страшно по ночам,—
из-за Магелланова маршрута.

Круглая... Так честная вдова
остывает, старости подвластна.
И, выходит, Ленин-голова
для других старался понапрасну.

Звезды гаснут и не на Кремле,
мрут не только люди, но — планеты...
Я б желал медлительной Земле
превратиться к финишу — в комету!

1955

* * *

А. Битову

Напишу роман огромный,
многотомный дом-роман.
Назову его нескромно,
скажем: «Ложь». Или: «Обман».

Будут в нем козявки-люди
драться, верить, пить вино.
Будет в нем рассказ о плуте.
Будет он, она, оно.

Будет пламенной идея
под названием «Тщета».
Вот опомнюсь и затею —
настрочу томов полста.

Сам себе куплю в подарок
домик с бабушкой в окне.
А остатки гонорара
не пропью — снесу жене.

1969

* * *

Хочу увидеть короля.
Живого. В праздничном мундире.
Ведь где-то есть еще земля,
пускай — единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,
принцессы, бледные с лица,
по гроб влюбленные в кого-то...
Ведь где-то есть!
А может, — нет?
Скорей всего — король задушен.
Дворец пошел под сельсовет
или, по пьянке, был разрушен.
Смекнула стража, что к чему,
ушла в пожарники... А девы —
так до сих пор и не пойму, —
принцессы глупенькие, где вы?

1960

С ПОЛУЧКИ

Пьяные бабы множат морщины.
Пьяные ползают черви-мужчины.
Пьяные руки не цепки, но липки.
Пьяные с губ облезают улыбки.
Пьяные ноги дубасят в настилы.
Пьяные зубы скрежещут, как пилы.
...Все позабыто, сбыто, пропито.
Пили, как лошади из корыта.
Били копытами в землю и в небо!
Не было Пушкина. Не было. Не было.

Сахалин
1958

БЫВШИЕ ЛЮДИ

На тряских нарах нашей будки —
учителя, офицерье...

У них испорчены желудки,
анкеты, нижнее белье.

Влетает будка в хлам таежный,
все глубже в глушь, в антиуют.
И алкоголики — тревожно —
договорятся и запьют.

На нарах — емкостей бездонность,
посудный звон спиртных оков;
на нарах боль и беспардонность,
сплошная пляска кадыков!

Учителя читают матом
историю страны труда.
Офицерье ушло в солдаты,
чтоб не вернуться никогда.

Чины опали, званья стерлись,
остался труд — рукой на горле!
И тонет будка в хвойной чаше,
как бывшее — в происходящем.

Сахалин
1958

* * *

На воротах Смоленского кладбища
в свое время висел громкоговоритель.

На кладбище «Доброе утро!»
по радио диктор сказал.
И как это, в сущности, мудро.
Светлеет кладбищенский зал.
Встают мертвяки на зарядку,
стряхнув чернозем из глазниц,
сгибая скелеты вприсядку,
пугая кладбищенских птиц.
Затем они слушают бодро
последних известий обзор.
У сторожа пьяная морда
и полупокойницкий взор.
Он строго глядит на бригаду
веселых своих мертвецов:
«Опять дебоширите, гады?» —
и мочится зло под крыльцо.
По радио Леня Утесов
покойникам выдал концерт.
Безухий, а также безносый
заслушался экс-офицер.
А полусквозная старушка
без челюсти и без ребра —
сказала бестазой подружке:
«Какая Утесов мура...»

Но вот, неизбежно и точно,
курантов ночных перезвон:
«Спокойной, товарищи, ночи!» —
и вежливость, и закон.

1956

СКУКА

Боюсь скуки, боюсь скуки!
Я от скуки могу убить.
Я от скуки податливей суки:
бомбу в руки — стану бомбить,
лом попался — рельсу выбью,
поезд с мясом брошу с моста.
Я от скуки кровь твою выпью,
девочка, розовая красота.
Скука, скука... Съем человека.
Перережу в квартире свет.
Я — сынок двадцатого века,
я — садовник его клевет,
пахарь трупов, пекарь насилий,
виночерпий глубоких слёз.
Я от скуки делаюсь синим,
как от газа! Скука, наркоз...
Сплю, садятся мухи, жалят.
Скучно так, что — слышно! Как пение.
Расстреляйте меня, пожалуйста,
это я прошу — поколение.

1957

ВИЗИТ

Из поэмы «Незабываемый 37-й»

Постучали люди в черном.
Их впустили, как своих.
Папа мой сидел в уборной,
сочинял для сына стих.

Мама ела торт «полено»,
я, дурак, жевал картон.
И вибрировал коленом
звездолобий пинкертон.

Он стоял в дверях, чугунный,
неподкупный, — враг врагов!
Торс гитары семиструнной
на стене — из двух подков.

Й, вонзаясь в грудь комода,
пропотели вдруг в труде
представители народа —
два лица энкаведе.

Разве можно книги мучить?
Зашатался книжный дом.
И упал из шкафа Тютчев
к сапогам двоих — ничком...

Нехорошие вы люди,
что вы роетесь в посуде,
что вы ищете, ребята?
Разве собственность не свята?

1956

БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

В середине двадцатого века
на костер возвели человека.
И сжигали его, и палили,
чтоб он стал легковеснее пыли,
чтобы понял, какой он пустяшный...
Он стоял бесшабашный и страшный.
И стихи в голове человека
стали таять — сугробами снега.
И огонь стихотворные строчки
загонял ему в сердце и в почки.
Пламенея, трещали поленья...
И плясало вокруг поколение!
Первобытно плясало, пещерно
и ритмически очень неверно.
А на небе Луна помирала,
что убита ракетой с Урала.

1959

МАРИНА

Мир виньеток, вкус миндальный
разутюжила,
над альбомами — как бомбовоз!
Муза мужества... была замужнею? —
не верю, не всерьез!

Демоном вокруг поэзии
и чтоб — бабьё?
Рифмочек стальные лезвия
у нее.

Древнее искусство — стоп:
женщина — как пуля в лоб!

И вздрогнул я... И, как болячка,
ее талант терзал мне грудь,
покуда белая горячка
не подсказала: трезвым будь!

Достойна трезвого внимания
Марина — слов гигантомания.
Словами загнанная в гроб,
живи, Марина, вечно чтоб!

Живи, Цветаева Марина,
слов голубая балерина...
Пускай летят из пустоты
тебе на гроб слова-цветы!

1967

ВОЗЛЕ МОНУМЕНТА

Глас истины
ненастным летом
заслышал я среди громов:
«Поэту должно быть поэтом,
а не властителем... умов».
Слыл уникальным, гениальным,
слепым, как дождь,
родным, как грусть,
а стал, увы,— официальным...
И что в итоге?
Пуля в грудь.
Летал, как кенар, в желтой кофте,
клеймил насмешкой пошлый быт!
А быт уже готовил когти...
И что в итоге?
Был убит.
...Стою на площади московской
в дождливый час, в дождливый век
и вижу: плачет Маяковский —
монументальный человек.
При жизни был кумиром, бонзой
среди поэтов!
Жил грешно...
А что в итоге?
Плачет бронза...
И нам, ей-богу, не смешно.

1981

ЕСЕНИН. «АНГЛЕТЕР»

Я обхожу твою гостиницу,
как яму... На небо гляжу.
Я не хочу с петлею видеться,
я эту встречу отложу.

Там — за окно в поля — из номера,
где ты решил заночевать,
твои стихи пустились по миру,
как бусы с нитки под кровать!

А кто-то, сбросив на ночь тряпочки,
заняв твой номер роковой,
сейчас в окне затеплит лампочку,
решив впотьмах, что он... живой.

1963

* * *

Разве хотел умирать Достоевский,
или любой, выходявший на Невский,
чтобы испить в ресторации душиной
и удалиться походкой послушной?

Разве хотел погибать Грибоедов,
или любой из российских полпредов,
что, не успев доиграть свою драму,
выброшен был в известковую яму?

Разве хотел удавиться Есенин,
или любой, бесконечно-осенний,
что появлялся на этой планете?
...Дети Земли, изумленные дети.

1968

* * *

Из-под ног ушла дорога,
невозможно жить без Бога.
Вместо храма — ввысь — слепа,
прет фабричная труба!
Мертвых душ апофеоз.
Гоголь, плачущий без слез.
Дождь идет. За облаками
звезды лязгают клыками.
Водка за сердце берет.
Люди ходят взад-вперед.
Бьются лбами друг о друга.
Летом дождь. Зимой вьюга.
Хлеб, любовь, могильный сад.
Ты не съешь — тебя съедят.
У кормила, как безумцы,
старички за власть грызутся.
У парадного подъезда —
что за шум? — борьба за место.
Даже солнца сник порыв.
Что оно? Атомный взрыв.
Через, скажем, игрек лет
от него простынет след.
Так ли, этак, худо-плохо, —
невозможно жить без Бога.

Выбит зверь, редет лес.
Запах истины исчез.
Бренны радость и беда.
Скучно в мире, господа!

1967

ЮНОСТЬ

Пили водку, пили много,
по-мужицки пили, с кряком!
А ругались только в бога,
ибо он еврей и скряга.

Кулаки бодали дали,
кулаки терзали близи.
На гвозде висевший Сталин
отвернулся в укоризне.

Пили водку, пили смеси,
пили, чтоб увидеть дно...
Голой ж... терся месяц
о немытое окно.

1954

* * *

Риду Грачеву

А я живу в своем гробу,
табачный дым летит в трубу,
окурки по полу снуют,
соседи — счастье куют.

Их наковальня так звонка,
победоносна и груба,
что грусть струится, как мука,
из трещин моего гроба.

Мой гроб оклеен изнутри
газетой «Правда», — о, нора.
Держу всеобщее пари,
что смерть наступит до утра,

до наковальни, до борьбы,
до излияния в клозет...
Ласкает каменные лбы
поветрие дневных газет.

1960

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ

Пыль, безлюдье. Как обычно.
Квохчет радио в дому.
На дороге — кака бычья, —
потому что потому.

Клуб. Пристанище культуры.
Баба движется с мешком.
От ее былой фигуры
пахнет скошенным лужком.

Дед, рожденный в прошлом веке,
дремлет в новом ампула:
на его дубленом веке
муха делает а-а.

Парень хату молоточком
заколачивает впрок.
Точка, значит. Мало точки:
ржавый вешает замок.

...Тишина над сельской новью.
Я стою — в руке блокнот.
Новый стих веретеном вью
без прикрас и без длиннот.

И колышет слабым ветром
утро зябкий матерьял —
красный флаг над сельсоветом,
что изрядно полинял.

1974

«ЛУЧШИЕ ЛЮДИ»

На заборе, не при деле,
на осеннем ветерке,
люди лучшие висели —
от плохих невядалеке.

Фотографии поникли,
пробрала их, с ветром, дрожь.
И серьезные те лики
поливал осенний дождь.

А в квартирах в это время
люди худшие, в тепле,
потребляли чай с вареньем...
Словом — жили на земле.

А меж тем и этим братством,
сам не свой, стоял поэт...
И решал: куда податься?
Середины-то ведь нет!

1970

* * *

На меня порою злятся:
пишет грустные стихи!
Разве я нарочно, братцы?
Вовсе я не прочь — хи-хи.

Вы им, критикам, не верьте:
не мозги у них, а жир.
...Иногда стихи о смерти
веселей стихов за мир!

1967

* * *

За границей не был, и — не тянет.
И не потому, что шами сыт.
Мне и от своих красивых зданий
хочется порою — в дебри, в скит.

А иной поэт, как в анекдоте, —
надоест, бедняге, дома врать,
пролетит над Чили в самолете —
издает «Чилийскую тетрадь».

Иль затеет трогательно шашни
с Францией... Чирикает, как чиж,
чтобы после — с Эйфелевой башни —
втихомолку плюнуть на Париж.

1969.

СТАРЫЕ ГАЗЕТЫ В ЯКУТИИ

Мы листаем старые газеты,
пожилые толстые журналы.
Имена, как будто пыль с планеты,
сдуло ветром времени... Финалы,
начинанья, юбилей владыки,
космонавт, заброшенный в иное...
Время — рельсы, имена как стыки, —
через все округлое, земное.
Мы их курим, начинив махоркой, —
имена, и даты, и портреты.
...Как они посматривают зорко,
как лепечут нам свои запреты,
разрешенья, пламенные речи...
Да простится наш порыв ничтожный, —
новый день ложится нам на плечи,
за него нам более тревожно,
чем за вас... Над нами тьма густая,
до рассвета топать три недели.
Мы вас курим, мы вас не читаем,
мы идем к своей заветной цели.

1964

* * *

Поцелую часть лица,
где разлиты слезы.
Встань со мною у крыльца
тихою березой.

Повздыхаем при луне
о финале века,
о загробной стороне
жизни человека.

А затем, легко, как рысь,
вдоль по Невскому пройдишь!

1965

ТРИ ЧАСА НОЧИ

Три удара за стеной.
Три дыры во тьме ночной.
Я глотаю чьи-то мысли,
что от примесей прокисли.

Лес, как вóлос, шевеля,
в танце кружится земля.
Ниспадает с потолка
нитка с телом паука.

С влажной крыши, с высоты
льют мяуканье коты.
Положив под челюсть руки,
я ловлю ночные звуки.

В туалете всхлип воды.
За окном — удар звезды! —
о панель... И одичало
одинокчество кричало.

1965

ЧЕТЫРЕ ЧАСА НОЧИ

Когда пролязгало четыре,
в квартире кто-то взвыл во сне.
Что в этот час творится в мире?
Кто на вопрос ответит мне?

Не началась ли серым утром
опять, как некогда, война?
А тот народ — не стал ли мудрым,
что зла посеял семена?

В четыре меньше дыма в небо —
почти не курят в этот час.
В четыре водку пить нелепо,
а если пьешь, то пей за нас.

В четыре капля с водостока,
последняя, — по горлу вниз.
В четыре, медленно, с Востока
заря вливается в карниз.

И так очерчено четыре —
и выпукло, и четко так!
И всем не спящим в этом мире
душа моя — дорожный знак.

1965

ВЕЧЕРИНКА

Вошла, внесла румянцы,
спросила: кто я есть?
Заваривались танцы,
шумел паркет, как желье.

Два пальца на гитаре,
четыре — на струне.
Дыхнула в ухо: «Парень,
сыграй наедине...»

Я в песню носом тыкался,
как в блюдце с молоком.
А ты, как недотыкомка,
стучала каблуком.

Как звать меня?! Акакием!
Она в ответ: «Трепач!»
А я ей: «Прочь отскакивай —
как мяч, как мяч, как мяч!»

1960

* * *

Артезианского колодца
новорожденная вода!
И жадно пьется, как живется.
Вода рокочет в бездне рта.

По барабанным перепонкам
и по застуженным зрачкам —
вода, как ртуть, как пятитонка,—
в лепешку, в блин! До мозжечка...

И, отвалившись, как пиявка,
от тела плотного воды,
я уползаю, сытый, в травку
и дальше — в спальные кусты.

1961

* * *

Опустил свой костяк на скамью.
Подбородок повесил на клюшку.
И уставился зло на мою
в молодых завитушках макушку.

Голый череп его вспылал,
губы дрогнули нервно, как струны...
Ах, за что он меня презирал?
Неужели — за молодость-юность?

Неужели решил, старина,
что весна — негасимый фонарик?
...Скоро, скоро сгорит и она,
как листва на осеннем бульваре.

1957—1988

* * *

Я меж сосен бродил. Становилось темно.
Исчезало вверху суковатое небо.
Где-то, дачное, билось о стол домино,
точно в черном припадке, привычно и слепо.

Там я встретил прижавшийся к дереву труп,
он висел в сантиметре от жизни, от почвы.
И кричала помада с его перекошенных губ.
И молчали глаза,
поперхнувшись отчаяньем ночи.

А потом мы гуляли с ожившею той немотой,
и на станции Лахта сажал я ее в электричку.
Вот и снова судьба подарила мне
миг непростой,
от которого жить на земле — необычно.

1965

ОДОЛЕНЦЫ

Мне показалось: позвонили!
Я вышел в ночь. За дверью пусто.
То одоленцы поманили...
И я пошел за ними шустро.

Осиротей, моя семейка,
заплачьте, розовые дети!
Бульвар, холодная скамейка,
осенний сексуальный ветер!

Я вновь покинул чистых комнат
геометрическую скуку.
Мне эта ветреность знакома.
Я постигаю, как науку,—

любовь, разлуку... Их немало
у жизни — одоленцев шалых.
А в чистом поле Русь дремала
на белоснежных покрывалах.

1966

КОЗОЧКА

Хрупкая, не хрустни косточкой,
умная — не схитрони!
Городская моя козочка,
ты меня назад верни.

Мне в себя вернуться хочется.
Отпусти в страну чудес,
в голубое одиночество,
как в прозрачный зимний лес.

Горная, верней — чердачная,
гордая моя газель.
Никогда не станешь прачкою
и не выйдешь на панель.

Не пройдешь рискованной тропкою,
вытянувшись, как струна...
Не отчаянная и не робкая,
не любовница и не жена.

1960

* * *

А землю трогает снежок.
И он не тает. А пора бы!
За щеки вставив пирожок,
идутмышленные прорабы.

Они задумали завод,
они поднять его решили
среди пружинистых болот,
где до того — лягушки жили.

Сейчас начнут повелевать,
сейчас закурят для начала.
И наш завод начнет вставать
и озираться одичало!

1959

КУДА?

Летают корабли вокруг Земли,
ракеты разрывают тряпку неба...
Ну, кажется, что люди всё смогли!
О, разум человека, где ты не был?

...Ученый человек испил чайку,
настроил абжур, ушел в расчеты.
Но — кровоизлияние в мозгу!
И — будь здоров. И вся премудрость —
к черту.

Я думаю... Я думаю все чаще
не о холодном космосе, увы,
я думаю о сущем, предстоящем —
кричащим содержимым головы;

я думаю уже тысячелетья —
о жизни и о смерти, господа...
Нет ничего наивнее на свете —
движения неведомо куда.

1962

* * *

Зеленые лица сосудов,
одетых с утра в пиджаки,
не чуют ни чуда, ни зуда,
когда им читаешь стихи.

...Писать для порожних бутылок
и ждать, притаившись, как плут,
когда — об коньячный затылок
тебя самого разнесут!

1973

* * *

Все пою и пою,
как дурак тухломыслый.
Попаду ли в струю?
Или — заживо скисну?

Попаду, попаду!
Меня будут печатать.
Я еще накладу
свой большой отпечаток.

1962

* * *

Речка в Витебске — Витьба.
Сесть на камень и выть бы!
Раньше в Витебске — хоровод церковей...
Город в грусть ушел до бровей.
Были храмы, и вот — увы...
Город Витебск старше Москвы.
Недавно взрывали двенадцатый век.
Кирпич как брызнет на белый снег!
Прораб веселый, как сатана.
Весь мир разрушит. И — тишина.

1969

НЕСВЕТСКИЙ ПОЭТ

Александру Мореву

Встанет спозаранку
заспанный поэт,
рот зажав, как ранку,
выйдет на тот свет.

Оттолкнет в парадном
кислый запах щец.
А жильцам досадно:
выплыл, плавунец!

Заспанный, непонятый,
головенка ниц, —
топает он по небу,
догоняет птиц.

С козырька не свалится,
как сосулька, грусть.
Впишем в поминаньице
маму его — Русь.

1963

* * *

И ныне, и присно — во веки веков:
прощай идиотов, страшись дураков.
Рубаху последнюю, сердце, живот —
с улыбкой отдаст дураку идиот.
Обманет, обидит, вопьется, как рак,
со света сживет идиота — дурак.
И ныне, и присно, и так без конца:
лицо идиота и пасть подлеца.

1968

В ПОДВАЛЬЧИКЕ

Это плачет дождь и только,—
по тебе или по мне.
Металлические столики
в нечаянном вине.

Это розовый комарик
набухает на виске.
Это бегаёт сударик
с полотенцем на руке.

На лице твоём порода
чуть наметила скулу...
Это плачет непогода,
слезы льются по стеклу.

Наша Пушкинская улица —
вокзальная скамья...
Уезжай отсюда, умница,
забудь, что это — я.

1961

* * *

Я посещаю площади.
На этой — шел расстрел.
На той — топтали лошади,
беснуясь, клюкву тел.

А здесь фашистов вешали.
А вот на той вчера —
влюбленный, как помешанный,
шатался до утра.

1962

* * *

Печальный факт: стареет тело.
Очки, морщины, полнота.
И шевелюра поредела,
и вера в лучшее — не та.

Милее стал осенний дождик,
ночной проспект, раздетый сад.
Пора минувшее итожить
и... перекрашивать фасад.

Вновь стану нежным, точно небо,
и даже брошу пить вино...
А то, что я в психушке не был,—
не верьте: был! Не так давно.

1967

* * *

Вы ему о Шекспире,
а он вам — по морде.
Вы на слове, на лире,
он — на сексе, на спорте!

Вы ему о Мадонне,
а он вам — о мясе.
Вот где душенька стонет,
вот где радость-то гасят.

Вы ему о рассвете,
о березе, о Боге...
Хорошо, что есть дети.
И — могилы. В итоге.

1969

* * *

На Колымском тракте — трактор.
Пьет проезжий преступный мир.
Пролетают с воплем машины,
тянут бешеный свой пунктир...
А в тракторе преют плешины.
Вышла девушка на крыльцо —
кровью вымазано лицо.

1963

* * *

Когда устанете глаголить о генсеке,
о беззакониях в Двадцатом веке-зэке,—
вдруг кто-то вспомнит

о начале дивной речки,
о человечке — стриженной овечке,
о том, как искренне торжественная туча
над городом плывет, ломая сучья;
о том, как тщательно антенна в поднебесье
усами ловит улетающие песни;
о том, как истово

мальчишка лет под сорок
гоняет голубей, поправших город;
о том, как некую тревожили старушку,
что, взорванную, помнила церквушку;
о том, как крест

ковали в кузне искрометной
и золотили... солнцем! В час рассветный.

1968 — 1989

ЧУМА БЕЗДУШИЯ

Чума была не в чемоданах
из Бангладеш,
она была не в дальних странах, —
что ей рубеж?
Она жила в молчанье сытом
отечных глаз...
Так равнодушие визитом
коснулось нас.
Слыла Россия романтичной
любых мессий.
Кто наши пламенные кличи
косой скосил?
Кто наши елочные мысли
впотьмах задул?
Чумой руководят не крысы.
Нас Маркс надул.
Недаром Запад — этот студень —
держал пари,
что нам спасения не будет:
смерть — изнутри.
Он, наблюдая, сыто ахал,
тряся свой жир.
Там любят зрелища с размахом,
Войну и Мир.
...Но равнодушие, как ряска,
коснулось нас.

Смешалось розовое с красным,
восторг погас.
Чума бездушия свой вирус
роняет в кровь.
И я из лап ее не вырвусь,
не вспыхну вновь...

1971

* * *

Смиренно, а не пламенно
рифмую с грустью — Русь.
Как за подолец маменькин,
я за нее держусь.
Гулял с душою выгнутой,
как хвост! — рычал, как зверь.
Но мать меня не выгнала
в январь — пинком — за дверь.
В глаза ее уставшие
смотрел, как пришлый князь,
на грусть ее
бесстрашную,
что вечною звалась.

1967

ДОРОГА

Дорога — питомица суши.
Ее проложили к воде
безмозглые тучные туши
с чудовищной силой в хребте.
Поздней —
на звериные тропы
ступил человек-пионер,
умевший плодиться и лопать
и мыслить на Божий манер.
Он шел по дороге на дело,
он нес на ключице дубьё.
Его поколенье хотело
того же,
что хочет — мое.
Имел он свирепые зубы,
обширный желудок имел.
Он ел торопливо и грубо
и вилки держать не умел.
Он все направления вызнал,
он все расстоянья
постиг.
Теперь он идет
к коммунизму —
к воде и еде напрямик!

1961

СТЕНА

Мне каждый день она видна
из окон — белая стена.
Среди асфальтов и болот
стена-скала, стена-оплот.

Там каждый день собака метит
порочный и осклизлый мел.
Там, у ее подножья, дети
играют мячиком в... расстрел!

Там в предрассветной сизой рани
вся боль, что в нас сидит давно,—
на штукатуренном экране
вдруг проступает, как в кино!

1965

* * *

Засыпает бабушка тревожно,
пошептав над судьбами внучат.
Тихо в мире... Но расслышать можно,
как в могилах мертвые кричат.

Заседают грозные министры,
по графину палочкой стучат.
А вразрез им — посторонний признак,
гул подземный: мертвые кричат!

Ночью в парке грешные мужчины
выбирают разовых девчат
и порою... вздрогнут без причины!
Что за притча? Мертвые кричат.

В бункере секретный академик
грозных мыслей испускает чад;
в жажде славы, подбираясь к теме,—
обнаружил: мертвые кричат!

Так, концы связуя и начала,
понял я, что мир во зле зачат.
...Это наша совесть искричалась!
Мертвецы по-прежнему молчат.

1964 — 1988

* * *

Раздвигаю деревья огромные.
О стволы ударяюсь их темные.
И уже не зверею,
не хрюкаю,—
наслаждаюсь, как песней,
разлукою!

Там, у выхода в поле кошмарное,
ты осталась,
как вспышка фонарная!
За твоею спиной
горделивою
там цветут этажи
прихотливые.

Здесь — трава над заросшими
шпалами
огоньками возшла
небывалыми!
Здесь сосет мое сердце
физически
ностальгия —
цветок экзотический.

1965

* * *

Ледовитые просторы,
ни единого цветка.
Высоко забравшись в горы,
стынет вечная тоска.

Напиши ты мне письмишко,
телеграмму отстучи,
а иначе будет крышка:
догорят дрова в печи,
догорит в зубах сигарка,
догорит в ночи луна...

На конверте вспыхнет марка!
А в конверте — весть одна:
мол, ушел однажды в горы,
в ледовитые просторы...

1964

* * *

Не кажется ли мне,
что я живу?
Живу, а не по реченьке плыву?
Друг-колокольчик
свесил синий глаз.
Кусты устали, как рабочий класс.
Куда плыву,
каким молюсь богам?
Кому крошу молитву по слогам?
Вода и тело... Царственная смесь.
И я в том царстве растворяюсь весь.
И, как эскорт —
два рыжих окунька
сопровождают грешника
в века.

1967

СЛЕЗЫ ЖЕНСКИЕ

Защитный рюкзак за спиной,
и ноги — в сапожной резине...
Любимая женщина — мной —
завязла в болотной трясине.
На небе — звезды не найдешь,
вода в сапогах леденела.
Клешнями сграбастала дрожь
красивое женское тело.
А в небе летел самолет,
двукрылый трещал «кукурузник».
Не знал, вероятно, пилот,
что ниже — в Советском Союзе —
в болоте,
с душой, с рюкзаком,
с любовью и с банкой консервов,
с раскусанным в кровь языком,
с разорванной пряжей нервов,
в зловонном болоте — жива! —
еще, бесподобна и зряча,
торчала, крича, голова,
впервые... естественно плача!

1959

* * *

Р. Р.

Ругать Россию модно —
дозволено в верхах!
...На сцену выйдет морда
и роется в грехах.
Тот стихотворец светский
сегодня кроет Русь,
кричит, что он — советский!
Не русский! Ну и... пусть.
Не всякий может — сыном
остаться в пляске дней.
За что же он — Россию?
За то, что дышит в ней?
Для нас Россия — это
как в сердце — жизни гул.
Кто из больших поэтов
хоть раз ее лягнул?
Державин, Пушкин, Тютчев?
Есенин или Блок?
Лишь — борзописцы сучьи,
что лают под шумок.
Они земли не делят
на гнезда... Шар, и — ша!
Но даже в брэнном теле
есть мясо — и душа,

седалище и очи,
слеза и пот... Не счесть.
И хочешь иль не хочешь,
но и Россия — есть!
Пусть — в обновенье, в ломке,
но Русь — как свет в заре!
И что ей те болонки,
что лают при дворе?!

1965

* * *

По улице билетиком лететь —
автобусным!
И выпить не хотеть.
Какой кристалл,
какой мужик — алмаз!
Про ангела с него списать рассказ.
...А мы сегодня —
в баньку, так и быть.
А мы из шаек пиво будем пить!
Настолько мы сегодня хороши!
Какие — вдоль панели — виражи,
какие в переулке антрашá...
Шмяк! —
как мочалка, выпала душа.
И, как обмылок,
сердце в лужу — шлеп!
И тишина...
(Точнее — пуля в лоб!).

1975

* * *

Как хорошо, что нынче непогода!
Приятен мне деревьев смертный треск,
ботиночное хлюпанье народа,
ушедшего под зонтика навес.
Так нужно мне — невидящее небо!
Как глаз больной, завязано оно
сплошную тучей!
Дико и нелепо
хохочет кто-то, выпивший вино,
за стенкой у соседей светлолицых...
Сегодня надо плакать и грустить!
А в форточку чирикает мне птица,
и я ей не могу того простить!
Ее веселье просто неприлично,
она — пузырь на плоскости воды...
Но дерево ломается, как спичка,
и я смеюсь! —
с квартирной высоты.
Как хорошо, что дерево сломалось,
что труп его
пал в дождевую кровь.
Я слишком долго отдавал любовь,—
берите ж то,
что от нее осталось...

1963

* * *

Все вы будете старухами —
злыми, добрыми, согбенными,
переполненными слухами,
что напичканы — изменами.

Все мы будем старикашками —
злыми, добрыми, горбатыми,
с довоенными фуражками
и с ладонями-лопатами.

Все мы станем ребятишками
с добродушными и жидкими,
размягченными умишками
и вдобавок — с пережитками...

Посему: беру винтовку
и сверлю свою головку.

1964

С ГОНОРАРА

Накуплю вещей-предметов:
мягкогрудую тахту,
десять штук вождей-портретов,
что не дремлют на посту;
обрету бокалы-рюмки,
а в кредит — презерватив.
Государственные брюки
проявлю, как негатив:
пробреду дневным бульваром
поперек своей судьбы!
Будут встречные мне пары
становиться на дыбы:
как же так! — ходил в лохмотьях,
как же так! — просил на хлеб!
...Я состарился в работе,
я, поэт Горбовский Глеб.
Ночь мою — клопы сожрали,
белый день — сожрал закон.
Где-то, скажем, на Урале —
мой, не найден, миллион.
Под пластом песчанокрасным
он лежит, шероховат...
Заявляю громогласно:
я ужасный мот и хват!
Я найду тот клад красивый
и — пропью его! Он — мой...

.....Ходит жизнь, качает силой,
как тяжелой булавой.
То меня по шее хрястнет,
то меня бодает в бок...
И уже предельно ясно,
что такое в жизни — Бог.

1963

* * *

Никого на земле не боюсь —
ни людей, ни зверей, ни стихии.
Захочу — из ружья застрелюсь,
если слишком делишки плохие.

А могу поселиться в горах
в никому не известной пещере.
Мне комар, презирующий страх,
симпатичней двуногого зверя.

Уповаю на сотни удач,
что играючи я повстречаю.
Неизменно уходит палач
после казни — к вечернему чаю.

Вот и я ухожу... после дня.
Как же долго казнили меня.
Вот и я выхожу из игры,
Лучше б съели меня комары!

1964

* * *

Очнись, душа! Звенят бокалы,
подходит оргия к концу.
На что улыбка намекала,
когда летала по лицу
очаровательной особы?
Завален всячиною стол.
Давай, душа, воскреснем оба!
Поймаем тайну за подол.
Гляди, пустились в пляску стулья,
трясется смачный закусон!
Считай, душа, что мы проснулись,
что эта быль — всего лишь сон.
А этот век — ковчег летящий,
обременен тщетою спящей...

1964

НАШЕСТВИЕ

Из цикла «Сны»

Был город крышами очерчен.
А по земле, по мостовым
ползли задумчивые черви,—
кишечный рядом с дождевым,
внезапно вылезший из фруктов
со срочно вставшим из могил,
неразличимый вкупе с крупным...
Тот бесподобен, этот мил,
сей шелковист,
а третий — влажен...
Мой город был обезображен.
Из окон связками свисая,
сцепясь сосисками в круги,—
вдруг разрывались на куски!
А в центре — женщина босая
с букетом нежности и грез
шла по червячному раствору,
и в пару дивных ее кос
вплеталась лента солитера...
А ветер, в посвисте и гике,
листал распластанные книги.
И Богом данные надежды
рвались, как ветхие одежды.

1963

* * *

Наступил на мозоль сослуживец.
Промолчу. Не надейся, паршивец,
не скажу, как другие: «Мерзавец!»
Пусть тебя изуродует зависть.
Не накину директору шубку.
Не прижму секретаршу-голубку.
Опрокину чернила на брюки
и зевну, как зевают от скуки.
Не отвечу в трамвае подонку.
Дома съем нелюбимую пшенку.
Не прочту детективную книжку.
Не спрошу у жены на «малышку»,
лягу спать на полу в коридоре.
Буду ждать с нетерпением... горе.

1965

* * *

Ведро вина, бок о бок кружки.
Дружки гуляют и подружки.
В углу кого-то вяло режут.
Окольцевал иных — картёж.
Сверкают зубы. Блещет нож.
И все загадочней и реже
смеется наша молодежь.

1962

* * *

Прожито больше половины.
Прочитан Кафка и Толстой.
И все же нету сердцевины
во мне — во тьме полупустой.

Дорогой длиною исхлестан,
иду, ищу, а что найду?
Какая истина серьезно
накинёт на сердце узду?

Познать покой — подслушать Бога.
Но Бог распят во цвете лет.
И есть всего одна дорога,
что привела на этот свет.

Куда иду, чего хочу?
Зачем по жизни топочу?
Вот и пиши, что мир прекрасен,
когда он все еще неясен.

1964

ПОЭТ В ЭКСПЕДИЦИИ

Лежу на нарах, на соломе.
Перевели меня на коми.
Вокруг братва
готовит ужин,
шипит жратва,
как ливень в луже.
...Еще пяток таких минут —
и все на мат переведут!

1970

* * *

Это песня, птичка-песня
в горле мечется!
Над деревней бледный месяц
травкой лечится.

Это сосны, тянут сосны
шеи медные.
Надо мною воздух просто —
блажь рассветная.

Скоро утро вспыхнет мудро!
Сердцу некогда!
Спи, лахудра, — в сердце тундра...
Ехать некуда.

Ах, дорога, вниз полого, —
крах предчувствую...
Вот бы Бога, хоть немного,
хоть бы чуточку.

1961

* * *

Я умру поутру,
от родных далеко,
в нездоровом жару,
с голубым языком.

И в карманах моих
не найдут ни копья.
Стану странным, как стих
недописанный,— я.

И, как встарь повелось,
на кладбище свезут.
И сгниет моя кость,
а стихи не сгниют.

Без меня хороши,
разбредутся, звеня,
как остатки души,
как остатки меня.

Сахалин, 1957

* * *

Отпусти меня, боль, отпусти.
Есть у пьяниц пароль: не грусти!
Не грусти, моя свет-красота,
ты всегда настоящая, та.

Ты прости мне проделки мои.
Отпусти меня жить в соловьи.
Буду тихо любить, как светить.
Подзаборной кончине не быть.

Отпусти меня в обморок вьюг,
в сердце друга, как будто — на юг...
Отпустила вселенская боль,
окунулась душа в алкоголь.

1963

В ТЕАТРЕ

В петлицах придушенные цветы
теряли удельный вес.

В театре смеялись: разверзлись рты,
носы повскакали с мест!

В театре смеялись... И был забыт
размер и шорох зарплат,
кривая цен, прямая борьбы
за час, за весь циферблат —

за жизнь! В театре вышибли страх
за жизнь — на смеющийся сладкий миг...
И слово «Выход» краснело в дверях,
отталкивающее, как тупик.

1957

* * *

Переехало собаку колесом.
Слез не лили, обязательных, над псом.
Оттащили его за ногу в кювет.
Оттащили, поплевали, и — привет.

И меня однажды за ногу возьмут.
Не спасет, что я не лаю и обут.
Что, по слухам, я — талантливый поэт.
Как собаку, меня выбросят в кювет.

Потому что в черной сутолоке дня,
как собаку, переедут и меня.

Сахалин, 1958

* * *

Если есть они, глазастые,
существа иных миров,—
им видна планета красная,
цвета крови! Кровь — покров.

За войной война вздымается,—
кровь друзей и кровь врагов
шире моря разливается —
аж не видно берегов...

Впитывается и окрашивает
кожицу эпох в свой цвет.
...Маленькая, а какая страшная —
человеческая из планет!

1957

* * *

На лихой тачанке
я не колесил,
не горел я в танке,
ромбы не носил,

не взлетал в ракете
утром, по росе...
Просто жил на свете,
мучился, как все.

1969

КАКОВО?

Какovo на свете птицам
без орудий производства
строить гнезда и кормиться
без основ животноводства?

Какovo зверью на свете
убивать без револьверов,
не читать, как чтут в газете
твой грабеж больших размеров?

Какovo ползучим гадам
вечно лежа, и ни разу,
ковыряя носом падаль,
не надеть противогаза?

Какovo на свете людям —
мы и спрашивать не будем.

1959

Я ВАС ЛЮБИЛ

Кого любить, кому отдаться —
и пальцами, и светом взгляда?
За рюмкой водки стонут братцы,
увилистые, точно гады.
Вот девушка... Она уже громоздка.
Расхлябана, будто повозка.

Кого любить, кому поверить
и мускулами, и молчаньем?
Скрипят захватанные двери
к сердцам, разъеденным речами.
Вот истина... Она уже банальна.
Как пассажир, поспешна и вокзальна.

Кого проклясть, кого отринуть,
к кому ослепнуть навсегда?
Спокойны стройные кретины,
упитаны их города.
Вот мальчик... Он зарезал кошку.
Он начинает понемножку.

Кого жалеть, кого простить мне,
чей гной опробовать губой?

Я не Мессия, не Спаситель,—
я весь измученный собой.
Вот я... Передо мною — водка.
И взгляд любимой, точно плетка!

1969

I

ПРОЩАНИЕ С АЛКОГОЛЕМ

В. Конецкому

За окнами — лежание зимы.
Стоят дымы, и мечутся машины.
И не добиться радости взаимы.
...Белым-белы палатные мужчины.
Они, ворча, прощаются с вином.
Их точит зло, им выдана обида.
А за окном, за розовым окном
зарей морозной улица облита.
А добрый врач — стерильная душа —
внушает нам, довольствуясь гипнозом:
«Вино — говно. Эпоха — хороша!
Великолепна жидкая глюкоза».
...Там, за окном, где винный перегар,
стоячий дым и меховые бабы, —
из-за ларька шагнул на тротуар
последний мой мучительный декабрь!

II

Износилась нервная система,
черепушка лопнула по швам.
Я ломаю тумбочки и стены,
бью больных по буйным головам.

То — пою затравленные песни,
то — пишу прошение в ЦК.
Я живу, как солнце в поднебесье,
остываньем тронутый слегка.
Захочу и вылечу простуду.
Захочу и вылечу в окно.
Приходила девушка оттуда —
из вчера... Заплакала смешно.
Я ее погладил по запястью.
И... залаял. И захохотал.
И зубами, прущими из пасти,
душный воздух резал и хватал!

III

ГОРОД

Под пологом электропроводов
дымит морозно улица ночная.
Мы дети ядовитых городов.
Мы серый день покорно начинаем.

Мы давим кнопки, валим рычаги.
Душа людей танцует и коптится,—
как будто в пене вольтовой дуги
трепещет окольцованная птица!

Клубок улыбок, висельных гримас,
потoki лжи, разряды поцелуев!
Рабочий класс. На башне вечный час.
И вечный мат плывет, как аллилуйя!

IV

Все некогда осмыслить бег времен:
крушенье эр, эпох звездопаденье,
мерцанье душ в коробочках имен,
стремленье тел за собственной тенью.

Больничным коридором узок путь.
В конце — дыра: прощание с родными.
Так в чем же суть? В падении на грудь?
Но кто прижмет, но кто тебя примет,

кто не прогонит с собственной груди?
Кто по тебе прольет молитву взгляда?
И ты летишь, ржавея на пути,
под неумолчный ливень звездопада.

1963

* * *

Эдуарду Зеленину

С неохотой собрался в рейс.
Хоть бы лопнул от скуки рельс.
Хоть бы запил в купе сосед.
Профбилет бы выпал в клозет.

Пересяду-ка в самолет.
Над тоской лесов и болот
буду плыть, как птица удад,
этот свет превращая в тот.

А потом опять, поутру,
как в могилу, в свою нору,
как в вулкан с синевы небес —
в мрак и бездну земных чудес.

1967

* * *

Е. Михнову-Войтенко

Мне пора на природу,
на деревья, на кочки,
на проточные воды,
дармовые цветочки!

Запрокинуться в травы
по-щелячи, по-птичи...
Нахлебался отравы,
подурнел я как личность.

Я залезу на елку,
пропою петушком
в молодецкой футболке,
с завитым гребешком!

От восторга потея,
вознесусь до небес...
Кто я, Господи? Где я?!
Неужели... воскрес?

1961—1988

* * *

В час есенинский и синий
я повешусь на осине.
Не Иуда, не предатель,
не в Париже — в Ленинграде,
не в тайге, не в дебрях где-то,—
под окном у комитета...
Что мне сделают за это?

1968

* * *

Мы — поколение нерях.
За разгильдяйство нас резонно
мариновали в лагерях,
и чаще — в концентрационных.

За то, что мы не мыли рук
и скул не брили ежедневно,
не гладили рубах и брюк,—
на нас покрикивали гневно:

ах, ваши трусики в дерьме,
ах, ваши мысельки во тьме!
...За это вас сгноим в тюрьме.

1968

* * *

Роскошь сытых обиталищ,
сундуки надежд и снов...
Я поэтам не товарищ,
я им — дядя Иванов.

Я хожу задами улиц,
я гоняю голубей.
На помойке в драном стуле
я сижу, как воробей.

И не думаю, не маюсь
в ночь с фонариком в душе...
Кто там голову ломает?
Все поломано уже.

1964

* * *

На карауле не стоял —
у Боровицких... Но у склада,
где дядя мыло выдавал,—
стоял и думал... Думать надо.

Какой ни есть, но все же пост.
Пускай за дверью спят портянки,
ушанки, ящик папирос,
пускай ботинки, а не танки.

Сказали: стой! И вот стою.
И автомат щекочет спину.
Отца угробили в бою,
а что, скажите, делать сыну?

1968

ДОМИНО

Там играют в домино
резво, дымно, бесполезно.
Тетка сплюнула в окно,
так как все в нее не влезло.

Потому что студень был
так хорош и уникален,
что в подъезде пес завыл,
весь окурками завален.

Кастаньеты домино —
пульс безбожного столетья!
Тетка выпала в окно.
Постарели за ночь дети.

Дети. Дяди. Домино.
И, как бел-туман, вино...

1963

* * *

Отчизна в поисках кормильца
читает лозунг на стене.
Бюрократические рыльца
желают лучшего стране.

А что — народ? Сыны Отчизны?
...Как бы присутствуя на тризне,
по вынесении икон,—
усердно варят самогон.

1980

В РЕСТОРАНЕ

Если можно, принесите сигарет!
Уберите также крошки со стола.
А вот этот непочтительный брюнет, —
почему он нависает, как скала?

Вы решили, что я сник и одинок.
Вы сказали, что я гопник — не поэт.
Я разбавлю вам горчицею вино...
Если можно, принесите сигарет.

Я вас очень попрошу курить под стол.
А иначе я вам... что-нибудь спою.
Я сыграю вашей памятью в футбол!
Отойдите: я с утра не подаю.

На столе салат завял, как овдовел.
В лимонаде молча сдохли пузыри.
На эстраде человечек заревел,
словно что-то вырвал с корнем изнутри!

Я встаю, слегка ошупав свой бюджет.
Уходи отсюда, Глебушка, дружок.
Если можно, принесите сигарет...
А брюнету мы запишем тот должок.

1960

ФОНАРИКИ

Когда качаются фонарики ночные
и темной улицей опасно вам ходить,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я никого уже не в силах полюбить.

Мне девка ноги целовала, как шальная,
одна вдова со мной пропила отчий дом,
а мой нахальный смех
всегда имел успех,
а моя юность пролетела кувырком!

Лежу на нарах, как король на именинах,
и пайку серого мечтаю получить.
Гляжу, как кот, в окно,
теперь мне все равно!
Я раньше всех готов свой факел потушить!

Когда качаются фонарики ночные
и черный кот бежит по улице, как черт,
я из пивной иду,
я никого не жду,
я навсегда побил свой жизненный рекорд!

1953

НА ДИВАНЕ

Песенка бедных художников

М. Кулакову

На диване, на диване
мы лежим — художники.
У меня да и у Вани
протянулись ноженьки.

В животе снуют пельмени,
как шары бильярдные.
Дайте нам хоть рваных денег,—
будем благодарные.

Мы бутылочку по попе
стукнули б ладошкой.
Мы бы дрыгнули в галопе
протянутой ножкою.

Закадрили бы в кино мы
по красивой дамочке.
Мы лежим, малютки-гномы,
на диване в ямочке.

Уменьшаемся в размерах
от недоедания.
Жрут соседи-гулливеры
жирные питания.

На диване, на диване
тишина раздалась...
У меня да и у Вани
сердце оборвалось.

1960

ПЕСЕНКА ПРО ПОСТОВОГО

У помещенья «Пиво-Воды»
стоял непьяный постовой.
Он вышел родом из народа,
как говорится, парень свой.

Ему хотелось очень выпить,
ему хотелось закусить.
Хотелось встретить лейтенанта
и глаз падлюке погасить.

Однажды ночью он сменился,
принес бутылку коньяку.
И возносился, возносился —
до потемнения в мозгу.

Деревня древняя Ольховка
ему приснилась в эту ночь:
сметана, яйца и морковь,
и председателява дочь.

...Потом он выпил на дежурстве,
он лейтенанта оттолкнул!
И снилось пиво, снились воды,—
как в этих водах он тонул.

У помещенья «Пиво-Воды»
лежал довольный человек.
Он вышел родом из народа,
но вышел и... упал на снег.

1960

МОЕЙ СОСЕДКЕ

Я мою соседку искалечу.
Я мою соседку изобью.
Я ее в стихах увековечу,
чуждую, и все-таки... мою.

Я соседку выдерну на кухню,
я обрежу ей электросвет.
Пусть, непросвещенная, потухнет.
Я куплю в «Березке» пистолет!

Наведу его на всю квартиру,
разнесу филенки и мозги...
Я принципиально против мира,
я — за бомбу, не за пироги!
...Что насторожились, дураки?

1956

МНЕ ГОВОРЯТ

Мне говорят: пиши о Ленине,
пиши, дурак, и процветай!
Как будто я — иного племени,
не человек, а попугай.

Мне говорят: пиши о Родине,—
как будто можно... не о ней?
Ведь песня сердца — не пародия,
а чуть потоньше, понервней.

Мне говорят: пиши об истине,
о смысле жизни, о борьбе!
...А вы попробуйте, чтоб искренне,
хотя бы букву — о себе.

1962

НОВОГОДНЕЕ

Мертвых елок на помойке
рассыпаются тела.
Стихли знойные попойки,
снесь слиняла со стола.

Баба хмурая, как буря,
что прошла над городком,
на крыльце стоит и курит,
посыпая матерком.

Нищих нет. У павильона,
запихав бутыль в штаны,
на снегу уснул гулена
в ожидании весны.

Воробей над ним поплакал,
капнув белым на треух.
Подошла, зевнув, собака,
пожелала что-то вслух.

Участковый дядя Коля
прочитал пивцу мораль:
«Замерзай, но — выйди в поле,
за черту! Задвинься в даль!

Не тревожь народ, скотина,
под святое Рождество!»
...Новогодние картинки.
Скучно. Только и всего.

1969

НА КЛАДБИЩЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Каждый день гробы на катафалках
свозят на кладбищенскую свалку.

Мимо окон

с музыкой прощальной,

с минимальной кучкою скорбящих

проплывает грузовик печальный,

увозящий

сложенное в ящик.

Иногда — без музыки гундосой,

сторонясь живых на перекрестках

и не отвечая на вопросы,—

мрачная проносится повозка!

Каждый день за солнечным окном

мне напоминают об одном:

если душу вверить атеизму —

все идет туда,

куда вставляют клизму!

Оха, Сахалин

1958

КВАРТИРА № 6

Поэма

1

Жилец, обманутый женою,
вставал обычно раньше нас.
Не улыбаясь, шел героем,
дабы воссесть на унитаз.
Свистел он гордо и ненужно.
И с шумом падала вода.
Жилец побрякивал натужно.
Шептал, харкаясь: «Е-ерунда-а».
Не умываясь, ел пельмени,
курил, вставал и уходил.
Соседи, как по мановенью,
его ругали: «Вот дебил!
Вот бегемот! Вот черт рогатый!
Спать не дает! Права жена!»
...А он когда-то был солдатом.
Его присвоила война
и награждала грудь металлом —
свинцом и золотом. Герой...
Герой прошел. Его не стало.
Теперь — контора, геморрой,
жена, сбежавшая с главбухом,

пельмени в горле... Ночь без сна.
И настороженное ухо
к звонку...
Но это — не жена.

2

Старуха, бывшая актриса,
жила настойчиво, как дуб.
Она все нюхала, как крыса,
совала желтый ноготь в суп,
а после — в рот... с губами в краске.
Завидя счетчик на стене,
всегда закатывала глазки:
«Жгут, паразиты, свет! А мне...
плати последние копейки!»
Сосала пряник на меду.
И в нафталиновой телогрейке
стояла стойко на посту —
на кухне
сутками,
бесменно...
Мешала стряпать, пить и есть.
Стояла длинно, как антенна,
как несвершившаяся месть!
...Но неизменно каждый месяц
в день пенсии, в день торжества,
вся отказавшись от агрессий,
ее сверкала голова:
сверкала пьяными глазами!
И вот она уже — Кармен!
Трясет седыми волосами.
Готова к подвигам измен,
готова к пляскам и браслетам,
готова к ласкам прежних лет...

И кости рук ее скелета
гремят, как пара кастаньет!

3

...Ходил он в шляпе и в перчатках.
Всем говорил вульгарно — «Ты!».
Его пиджачная клетчатка
носила винные следы,
а кое-где зияли дыры
от искрометных сигарет...
Он был диктатором квартиры
и величался: «Наш Па-ет!»
«Пает» бросал окурки в боты,
сморкался в пальцы, пил коньяк
и знал такие анекдоты,
что слушать их... нельзя никак.
Однажды он,
набравшись духу,
надел петлю, прибив гвоздок...
Его спасла Кармен-старуха:
в тот миг ее ударил ток,
когда она ласкала счетчик.
Старуха взвыла слишком зло!
«Пает» петлю откинул срочно,
его от бешенства трясло.
Он обругал старуху «дамой»,
лег на диван и захрапел.
А утром он ругался: «Хамы!»
И даже что-то вяло пел.

4

За дверью с надписью «Проказа!»
жил человек.

За десять лет
его не видели ни разу,
не знали: жив он или нет.
На телефонный столик тайно
являлись деньги: свет и газ.
Старуха знала: личный чайник
он прячет в сейф стальной от нас!
Однажды чайник объявился,
старуха нюхала, ворча:
«Сегодня в чайнике он брился!
Все в мыле! Псих! Позвать врача!»
...Его боялись, как проказы,
хотя он был почти никто...
Его ж не видели ни разу —
ни вовсе голым, ни в пальто,
ни одного, ни с кем-то вместе...
А этот сфинкс работал в ночь.
Он на работу в Пушкин ездил,
там у него — сестра и дочь.
А мы ему долбили в двери,
мы ненавидели его:
что вот живет,
коль спискам верить,
и все же — нету никого!

5

В последней комнате у входа
жила огромная семья.
Там было десять душ народа,
там было двести пар белья;
там было ровно десять стульев,
тарелок было — двадцать пар...
Из их дверей, как из кастрюли,
валили запахи и пар!

Они кишели, точно черви,
и расползались...
И у них
имелись каменные нервы —
подряд у всех десятерых.
Они сновали, как машины,
по коридору — двадцать шин.
На них имелись — то плешины,
то челки разных величин.
Они выстраивались молча
гуськом — у двери в туалет.
И, проходя: «Скорее, сволочь!» —
предупреждал их «наш Пает».

6

А на полу валялась спичка,
что стала поводом к войне!
Актриса, жалкая жиличка,
вдруг разразилась: «А по мне —
составить акт на хулигана!
Здесь не панель! Здесь не война!
Да от такого-то барана
и я ушла бы, как жена!
Кретин! Разбрасывает мусор!» —
«Заткнись! — пролаял Геморрой —
Герой Советского Союза.—
Свой рот накрашенный закрой!»
«Пает» слегка толкнул старуху,
и вышло сразу десять душ...
Чем завершилась заваруха —
никто не помнит.
Бывший муж
ушел в клозет свистеть и харкать.
«Пает» напился.

Десять лиц
построились, как липы в парке.
Старуха выла в сто волчиц.
А тот... «никто»
стоял в кальсонах,
и был он — милиционер.
Стоял он, пасмурный и сонный,
и не свистел...

1958

НАША УЛИЦА

Генриху Штейнбергу

1

Это вам не фешенебельная «стрит».
Наша улица бандитами пестрит.
В этой улице моей пенсионер
под подушкой держит страх,
как револьвер.
В нашей улице, раздетой донага,
то метель хрипит, то кашляет пурга.
Ну, а то, глядишь, какой-нибудь балбес,
как на дерево, на дедушку залез
и трясет его угрюмо и легко,
умоляет: рупь добавить на пиво.
Иногда из непроглядного окна
вылетает на прогулку сатана,
он летит над миром — сидя (прихворнул!),
и скрипит под ним старинный венский стул.
А над баней, на четвертом этаже —
алкаши танцуют танец неглиже.
Дворник машет ошалелюю метлой,
приговаривая:
«Всех — долой, долой!»
Посыпает льдину сахарным песком
и, слоеным, покрывает матерком!

...Вот идут они и держатся стены.
Всюду чучела — колибри и слоны.
В банке — Моцарт или, скажем, Эдисон,
не родившись, погрузились в вечный сон.
Говорит она: «Взгляни на потолок».
Он взглянул и обомлел. И занемог.
Там висел скелет распятого... кита.
А Блесна ему кукует: «Кр-расота!
Вот могучий, вот махина! Вот вагон!
Интересно: сколько в рыбке было тонн?»
...Парень топчется... Роняет пот из рук.
Он не хочет тех... естественных наук!
Он глядит, и на него —
из-под стекла,
словно в бабочку, вонзается игла!

3

А стоит на нашей улице поэт...
Полтораэта с лишним будет ему лет.
На кудрявой голове, как бы колпак,
снег дурацкий примостился кое-как.
А вокруг него клубится детвора:
то заплачет, то скандирует: «Ура!»
Стая старых бюрократов и тузов
прелых, комнатных прогуливает псов.
Отдыхает от инфаркта гражданин, —
синь кальсонная сквозит из-под штанин.
И привел сюда жених свою любовь.
Подняла она истерзанную бровь
и вещает: «Понимаешь, дорогой,
он — велик, но мне понравился другой.
Пушкин — гений. Я согласна. Это — класс.
Но Асадов... просто всю меня потряс!
Просто — слезы... Просто словно ты в бреду.
А сидела я в тринадцатом ряду».

...Поглядел жених на «слезный аппарат»
и отметил, что чему-то он не рад.
Не удар он ощутил и не толчок,
а завелся как бы в сердце червячок...
Вроде — к мозгу подступила тошнота.
Но взяла его под локоть Красота,
лихо топнула железным каблуком
и от маленького Пушкина — бегом!
А жених — трусцой! Однако на углу
Маша — к дворнику... Воссела на метлу
и летит по мостовой, как на коне!
Опупел жених, вспотел... Душа в огне!

4

Поскользнулся как-то пьяный человек
и плюется алой кровью в белый снег.
По-кошачьи изгибается, хмельной.
А толпа его обходит стороной.
Кто ослеп, кто онемел, а кто оглох.
Кто, застигнут этим зрелищем врасплох
и не зная, что же, в общем, предпринять,
незаметно, раком двигается вспять.
Вдруг подходят два кудрявых молодца.
Наконец-то, говорят, нашли отца!
С двух сторон его облапили — и в путь!
(«Не шуми, папаня, умницею будь...»)
И ведут его дворами на зады,
за дрова, где кувыркаются коты,
где и в солнечное время так темно,
словно в море канул камушком на дно...

...Тем же временем влюбленный (быть беде!)
за дрова нырнул по маленькой нужде.
И, внезапно оглушенный чем-то в лоб,
улыбается и падает, как сноп.

В женихе едва колыхнется душа...
 Мигом смылись два веселых кудряша.
 За пленницей,
 вздымая снег и грязь,
 ползал пьяненький, крихтя и матерясь...
 А когда впотьмах очухался жених —
 враз милиция нагрянула на них!
 Повели их нашей улицей...
 А тут —
 как назло — ее родители идут.
 Сроду кислые их лица, словно медь,
 начинают постепенно зеленеть.
 Вылезают заскорузлые глаза...
 А жених с тоской глядит на небеса.

5

Подмораживало, жало под бока.
 Нес жених под глазом — лужу синяка.
 Как взведенную гранату, в кулаке
 он рябину нес домой
 на коньяке...
 Злой, обиженный, попавший в переплет,—
 «Я — не тот! — кричал он улице.—

Не тот!

Пушкин, Пушкин, я люблю тебя, старик!
 Дай сниму с тебя дурацкий твой парик.
 Уходи отсюда, Пушкин, дорогой...
 Как ты можешь быть на улице такой?
 Наша улица груба и холодна,
 как слепая незаконная стена...»

Позвонил в квартиру Маше — Пиджачок.
 Дверь открыл ему какой-то мужичок,
 незнакомый, не причастный Красоте,—
 то есть там живут совсем уже не те.

Не прошло еще и дня, а на Земле —
все иначе, все замешено на зле.
Те же руки, те же ноги, те же рты,
только ты для них — совсем уже не ты.
Закрывается на сто цепочек дверь.
И замок зубами лязгает, как зверь.

Дома комната — уютная, как гроб.
По стене ползет состарившийся клоп.
Раскладушка, искалеченная сном,
да таинственный будильник, точно гном.
...Ну, рябина, как ты там... на коньяке?
Ты настояща — как сердце — на тоске?
Или, может, — на терпенье?
На мечте —
о единственной и вечной Красоте?

1966

III

Всезда

1985-1989



ТЫСЯЧА ЛЕТ

Из «Киевского цикла»

I

Не будет препятствий моей запоздалой любви
ко всем этим древним холмам и Софиям...

Безгрешен порыв мой

внедрения в княжеский Киев.

Взыскую у жизни: пресветлая, чудо яви —

верни православным обитель —

Святую Печору,

как сердцу былые восторги,

как зренье угасшему взору!

...Владимир на круче,

взлелеявший разумом крест

и смысл византийства,

прозревший пространства.

Теперь — на колени: испить от Днепра

постоянства

страдавших за правду и павших окрест.

Но губы слипаются, терпкий вкушая мазут!

Надкусано яблоко —

плыть ему к Черному морю.

Я в нем содержание жизни оспору:

в нем больше рентген, чем у сердца минут.

И десять веков мы умнели, и тысячекратно

острее наш разум! А цель, хоть ясна,—

непроглядна.

II В ЛАВРЕ

Вот — съезжившееся государство
за изгородью белых стен.
Здесь — мощи времени. Здесь царство
теней нетленных. Самоплен.
Блокада жертвенного духа
соблазнами. Здесь схи́ма дум.
В пещерах подлинно и сухо.
И шум толпы, бесследный шум.
И тяга к солнцу, к свету, к саду,
к теченью вечного Днепра...
А то, что свято, в принцип сжато —
вдохнуть всей бездною нутра.
Пещерный гнет, гордыни схи́ма.
Здесь Русь творима. И — хранима.

III

Ну что, ощутили тот акт за незримой чертой?
Вот здесь и крестили... За пристанью той.
За вербою старой,
за стайкой отлетных галчат,
за той бочкотарой, где сваи торчат...
А в палевом дыме осенних листовых костров
над кручей — Владимир, смятенно-суров.
Силком, батогами сгоняли к весенней воде.
Теснили пинками народ ко Христовой черте.
Туда, к облученью наукой — ума.
Туда — к просвещенью! Оттуда, где — тьма.

IV ЯЗЫЧНИКИ

Выходит, напрасно крестили,
тащили из тьмы.
Теперь-то уж ясно: язычники мы.

Всегоду Помолимся брюху,
душистой, как труп, колбасе.
А светлому духу — хихикнем
бездумно, как все.
Стальные фигуры, бетонный парад пирамид.
Из мускулатуры наш дух бездуховный отлит.
Все эти церквушки, вся эта трухлявая скорбь,
все эти старушки — не нашему богу укор.
Мы лепим ракеты, мы шарим в пустых небесах!
Вдыхайте, аскеты, свой дух монастырский,
как страх.
Мы врежем реактор, как сердце,
в бетонную суть.
А все эти акты с крещеньем —
трусливая муть.
Наш идол — мгновенье!
Свинцов его ядерный лоб.
За нами — движенье. А там — хоть потоп.

V

АСКОЛЬДОВА МОГИЛА

Беседка, ротонда... Как хочешь ее назови,—
существенно то, что она — на крови...
Обманным путем заманил на ночлег
Аскольда и Дира — Олег.
Какая кровавая вызрела страсть:
под солнцем людей — над подобными власть!
Мы братья земли, но какой в этом толк:
Бориса и Глеба пожрет Святополк.
Беседка, ротонда, а хочешь, скажи: павильон.
Безвинно погибших под ним —
не один миллион.
Над Киевской Русью,
как розовый пух облаков,
плывут их дождливые души из мрака веков.

Беседка, ротонда...

Вглядись, мое сердце, в себя:
как жить повелишь? Убивая? Любя?

Всегда

VI

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ СТАРУХИ

Ночь. Душная. Контрольный пост.
На Припяти лежит понтонный мост.
Их задержали юные стрелки,
тех двух старух — на спинах узелки,
тех двух бабуль, подпертых батожком,
две сотни верст отмеривших пешком.
Они — туда, где мертвые сады,
они — домой: там отчие кресты.
Они сказали: здесь вот и умрут.
Они разулись: боты ноги трут.
Им лапоточки нынче в самый раз.
Их задержали, им прочли приказ.
А ближе к утру — крадучись, ползком,
они исчезли... Благо путь знаком.

VII

Нет, не Дом Турбиных, до поры
причисляемый к лику, — чуть ниже,
возле Замковой плоской горы —
дом рожденья Булгакова Миши.
Не Андреевский спуск, не «кино»,
не парад из лубочных построек,
а — слободка, пустырь или дно,
то, что власть именует «дырою».
Вот церквушка, где был он крещен,
вот булыжник, где корчились жертвы.
«Ваш Булгаков... он что — запрещен?» —
«Воскрешен, — отвечаю, — из мертвых».
...Как же ты уцелел, добрый дом?
Чьей молитвой? Чьим светлым трудом?

VIII

Заутра выпал снег.

Как проступила соль —
на кровлях, проводах, деревьях.

Соль жизни. Или — чья-то боль.

Не чья-то — наша. Зревшая издревле.

Снег Киевской Руси... Пора в аэропорт.

Сегодня улетать

к снегам балтийской вязки.

Крестами черными — из белого — в упор
чернеют рамы в окнах-масках.

Однако улетать — не умирать.

Прощай, Крещатик... Селезенкой чую:

мне на тебя вторично не взирать, —

вот разве — облаком, которое кочует

по белу свету, сея с небеси

кислотный снег, безбожный снег Руси.

IX

Тяжко в землю палочку втыкая,
шел старик, сгибаясь пополам.

У России миссия такая:

крест нести,

дабы воздвигнуть храм.

Шел старик... Попутные машины

тормозили! Но, махнув рукой,

шел себе, не ведая кручины.

Что поделать, если крест такой?

Две старухи пыльные, сверкая

глазками — в кильватер старику...

У России миссия такая —

суетиться! Ясно дураку.

Ну, а что же их влечет по свету?

Миссия влечет. Коль Бога нету.

Киев — Ленинград

1987

РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ

Не из дерева-кирпича,
не из мрамора и гранита —
из немеркнущего луча
плоть благая ее отлита.

Православная, вопреки
всем печалям — не пала низко.
Колыма, Сибирь, Соловки —
вот героев ее прописка.

Ей завещана страсть — не страх.
Страстотерпица! Слышу эхо:
то горят на своих кострах
Аввакумы двадцатого века.

Не иссякла в кровавой тьме,
не изникла в бесовской смуте.
Вот она стоит на холме
в осиянной Господом сути!

Пусть одежда ее проста,
цель — подвержена злым наветам...
Свет негромкий ее креста
неразлучен с небесным светом.

1988

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ ОДНОЙ УЛЫБКЕ

Баллада

Морозный день. Жандарма крик.
От роду — десять лет.
И тут подъехал грузовик,
в озябших фарах — свет.

Лежал плененный городок
под снегом и золой.
Топтались Запад и Восток
вокруг столба с петлей.

Десяток их, десяток нас —
толпы... Откинут борт.
И грузовик в который раз
чихнул в оскалы морд.

А там, под тентом — в глубине
фургона — человек!
В его глазах, на самом дне,
уже не страх, а снег.

К запястьям проволоки медь
прильнула... глубоко.
Сейчас ему хрипеть, неметь,
вздymаться высоко.

И вдруг, печальна и чиста,
как музыка лица,—
улыбка тронула уста
казнимого юнца!

...Потом и я бывал жесток,
забывчив — не солгу,
но та улыбка — на Восток! —
по гроб в моем мозгу.

Что ею он хотел сказать?
Простить? Согреть свой дом?
...Решили руки развязать.
Спасибо и на том.

Он кисти рук разъединил,
слегка разжал уста.
И все живое осенил
знамением креста.

1987

ОЧЕВИДЕЦ

Под вселенский голос вьюги
на диване в темноте
поразмыслить на досуге
о Пилате и Христе.

...Как же так! — руками трогать
воздух истины, итог,
в двух шагах стоять от Бога
и не верить, что он — Бог...

Под тенистою маслиной,
на пороге дивных дней,
видеть солнечного сына
и не сделаться светлей!

Отмахнуться... Вымыть руки.
Ах, Пилат, а как же нам
под щемящий голос вьюги
строить в сердце Божий храм?

Нам, не знавшим благодати,
нам, забывшим о Христе,
нам, сидящим в Ленинграде
на диване — в темноте?

1988

* * *

...два невидимые крыла поднимают
человеческую душу над остальной
природой: желание бессмертия и
желание правды.

Вл. Соловьев

То был разрыв длиною в пять минут —
меж днем и ночью, сном и пробуждением.
В окне листва училась шевелению,
в овраге птицы предавались пенью,
а я не помнил... как меня зовут?

И что есть мир, молчащий за окном,
и что есть я, живущий в этом мире, —
я все забыл! — хотя и мыслил шире,
чем год назад, когда я жил в квартире,
а не в лесу, в пристанище сквозном.

И вдруг я вспомнил то, чего не знал.
Нет, не о том, что истина капризна,
и не того, кому обязан жизнью, —
меня пронзил нерукотворный признак:
всему начало — гибельный финал!

Есть за чертой борьбы добра и зла,
как бы за гранью мысли о чудесном,
как за мечтой о царствии небесном,
во дне грядущем, а не в присном пресном, —
простор, и свет, и смысла два крыла!

1987

* * *

Человек мыслящий уже понял, что
на этом берегу у него ничего нет.

П. Флоренский

Нет ничего на этом берегу.
Зато на том — ромашки на лугу,
душистый стог, сторожка лесника,
слепой полет ночного ветерка.
...Нет ничего на этом берегу.
Любовь, ты — мост. Я по тебе бегу.
Не оглянись! Что я оставил там?
Тоску-печаль по вымерзшим садам?
Плач по друзьям, истаявшим в огне
земных борений? Но друзья — во мне,
как я — в сиянье этих вечных звезд,
что образуют в триединство мост.
Не оглянись! Метель в затылок мой.
То дышит мир, что был моей тюрьмой.
Не я ли сам — песчинка в снах горы —
себя в себе захлопнул до поры?
...Прочь от себя, от средоточья тьмы —
на свет любви, как будто от чумы,
перед единой истиной в долгу...
Нет ничего на этом берегу.

1986

* * *

Вдали от глаз людских, от бренного труда
на кладбище людей есть статуя Христа.
Деревья пышные и птичий всплеск рулад,—
не скорбная юдоль, а Гефсиманский сад!

В ногах у статуи цветов живых не счесть.
И, шустрые, шуршат песком старушки здесь.
Не у фабричных же ему стоять ворот:
он там, где никого... Где — все, но в свой черед.

Он там, где тучно громоздится тишина,
где правда от мечты стеной отделена,
где ветры кроткие в листве... И тень листвы
на бронзовых устах — как Жизнь, а не «увы».

1986

ЧИТАЮЩИЙ МЫСЛИ

При дороге у хлебной распашки
он стоял в полинявшей рубашке.
Возвышался над миром горой.
Дело было осенней порой.

Возвращаясь с прогулки неспешно,
я набрел на него неизбежно.
Он и прежде тревожил мой путь.
А сегодня — уперлись грудь в грудь!

Я подумал: вот осень стучится,
покидает тепло нас и птица...
Но ответил он мысленно мне:
«Возвратятся они по весне!»

Я подумал, глуша в себе ярость:
страшно! В тело вселяется старость...
Он ответил — улыбкой одной:
«Все мы — тело любви неземной».

Я подумал, а он аккуратно
прочитал мои мысли стократно.
И, шумя поредевшей листвой,
напитал меня силой живой.

1989

СВИДАНИЕ С ПРОШЛЫМ

Весь мир новизной голубою
пронизан! Былое — зола.
Я вижу себя — под собою —
идушим из прошлого зла.

Там смрадные трубы дымили,
там смысла железного лязг;
там люди уже не любили,
сердечных не ведая ласк.

О сладостный миг раздвоенья,
общенья с собою вовне,
идушим долиной Терпенья
(как холодно в той стороне!).

Уж мне-то известно, какая
бессмертная там красота:
едва улыбнулся, вникая, —
очнулся... и жизнь прожита.

Теперь это все — подо мною.
И я, как исчадие зла,
иду над собой — новизною —
как будто по глади стекла.

Лишенный иссякшего слуха,
я вижу, как с той стороны
к стеклу приближается муха,
ожившая с громом весны!

1986

УШЕДШИЕ

Вас было больше, чем листвы
на этих тополях.
Бурьян-травой накрылись вы,
землею съеден прах.

Живым все чаще — не до вас,
всяк прав — в своем седле.
...Но иногда восходит час —
Час Мертвых на земле.

Я вижу, как, за валом вал,—
дым без костей, без жил,—
неспешно входят в степь, как в зал,
все те, кто прежде жил.

Всю ночь, как дикие цветы,
колышется их строй.
И шум посмертной суеты
доносится порой.

И я, очнувшись от тоски,
стою над бездной всей...
И две своих живых руки
ласкаю, как друзей.

1987

* * *

Ясный, просвеченный, чистый
праздничный день января
в волны житейской корысти
бросил свои якоря.

Пахло пронзительно хвоей.
И над снегами долин
солнце висело живое,
сочное, как мандарин.

Ниже — таинственно, книжно —
в стылой реке подо льдом
двигались воды неслышно,
мир постигая с трудом.

День обреченный был ярким.
Ангел играл на трубе.
Людам дарили подарки:
каждой душе — по судьбе.

1986

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Край неба и звезда
в углу, как на конверте.
Рождение Христа —
спасение от смерти.

Снег. Прошное. Мороз.
Мир распрямляет спину.
Нельзя смотреть без слез
на русскую равнину.

В сугробе, как пенек,
избушка в платье белом.
Но вспыхнул огонек
в окне заиндевелом!

Живи, земля, живи.
Добра сияйте знаки.
Рождение Любви —
прозрение во мраке.

...Ему — с твоей тоской —
быть на кресте распяту.
Тебе — Его рукой —
возжечь в ночи лампаду.

1989

* * *

Блаженны нищие духом...

Лампада над книгой потухла,
а строчки в глазах все ясней:
«Блаженны голодные духом,
взалкавшие правды Моей!»

Сижу в окружении ночи,
читаю в себе письма,
как будто я старец-заточник
и нет в моей келье окна.

Но в сердце — немеркнувший праздник,
и в вечность протянута нить.
И если вдруг солнце погаснет —
все ж Истина будет светить!

1988

ПОКАЯНИЕ

Гласит божественная лира,
нас уводя от суеты:
не сотвори себе кумира,
не искази Творца черты,
уйми гордыню...
Богом данной,
душе —
в трудах воздвигни храм!
...Ведь даже звезды,
покаянно,
бледнеют в небе по утрам.

1988

ВРАЗРЕЗ

Барка жизни стала
на большой мели...

А. Блок

Вразрез волнам житейской непогоды,
вразрез теченью общему вещей,—
мы не властям, мы Господу в угоду
тянули лямку барки жизни всей!

В театре жизни знали мы не мозгом,
а знаньем сердца (покаянный труд) —
зачем пришли на шаткие подмости,
куда уйдем, коль занавес дадут...

Во все века, исполненные желчи,
со дней Голгофы, мир людей — тюрьма.
То объявлялся Гоголь сумасшедшим,
то вся Россия — сдвинутой с ума.

Мы пели в хоре, рта не раскрывая.
Сверлили почву, существу вразрез,
чтоб видеть свет сквозь тьму земного рая,
сквозь шар земной — благую синь небес!

1989

* * *

Там человеческий череп валялся...

Из подслушанного разговора

Среди исчерпанных вещей,
свое отживших,—
в куче сорной
валялся череп беспризорный...
И я подумал: череп — чей?
Пусть даже в срок житейский свой
он был убежищем лентяя,
не гения, а — негодяя,—
он был оплот души живой!
Там — мысль лучилась, как алмаз.
Там совесть зрела в дар природе.
Там вера тлела — в том оплоте,
там жар божественный угас.

1988

* * *

Кто виноват,
что в глубине души,
в ее пучине вязкой, тусклой,—
теснятся осьминоги и медузы
дурных страстей
и всей прелестной лжи?

Ведь вон как травы на дожде чисты,
как первозданно-непорочны звезды
и свеж огонь в костре!
...Как просто —
быть... не собой:
вне
Богом данной красоты.

1988

* * *

Я схоронил свою мечту:
она во мне, как в темном склепе,—
а ей бы плавать в синем небе,
цедя сквозь зубы высоту!

Я пережил себя в себе.
Тот человек, что звался мною,
стал запредельной тишиною,
росой на ангельской тропе.

Но... я узнал в пучине дня,
в стремнине пешего потока,—
ту, что вскормила грудь Бога!
...С какой печалью и тревогой
она взглянула на меня.

1988

ЕЩЕ

Глаза в синеве поднебесной купаю,
остатки любви из груди выскребаю.
Еще мне милы — и река, и дорога,
береза и тень от нее до порога.

Еще меня птицы волнуют и травы,
и люди, особенно — отчей державы.
Еще меня мысли тревожат средь ночи,
но мягче душа моя с миром и проще.

Еще меня трогают взоры иные,
но я в них читаю права неземные.
Еще меня манят в просторы тропинки,
но что они знают — пески и суглинки?

И песни терзают мне ласкою грудь.
Но я уже вижу единственный Путь.

1986

* * *

Присутствую при снегопаде —
последнем, может быть, в судьбе.
Не отвлекайте, бога ради,
забыть позвольте о себе.

Ловлю холодную снежинку
горячим выступом губы.
Слежу зигзаги и ужимки
венозно вздувшейся тропы.

Очаровательное иго —
снеговращения краткий срок...
Читаю небо, точно книгу,
и Божью милость — между строк.

1988

* * *

В сознание недужном,
в судьбе, как в толпе,
всего-то и нужно —
забыть о себе.

Ступив на дорогу,
к терпению прильнуть,
Всезрящему Оку
доверив свой путь.

1989

ПЕРЕД ДОРОГОЙ

Дождь напоследок напутственно хлынет.
 Шум непогоды прогнет потолок.
 В книгу уляжется ветка полыни,—
 Блок или Тютчев? Нет, все-таки Блок.

Там, где я жить собираюсь отныне,
 дождь не идет и стихи не нужны,—
 как на пейзаже, на тусклой картине,
 только — с обратной ее стороны.

Там, в окружении добрых созвездий,
 сидя на камне под старой луной,
 я поразмыслю о пользе Возмездий
 и отрекусь от печали земной.

Будет и там — и печаль, и дорога
 течь, рассекая благие места...
 Робко спрошу я у встречного Бога:
 — Эта дорога выводит... куда?

1988

В ПОИСКАХ НЕВИДИМКИ

Биоритмы

1

Там, в заварушке снегопада,
в поселке возле Ленинграда,
мне было ничего не надо —
ни хлеба с солью, ни воды,
ни чьей-то мысли подгорелой,
ни чьей-то ласки оголтелой,
ни прочих благ, что жаждет тело
от «окружающей среды».

2

Мороз шептал о всяком вздоре.
Сидела цифра на заборе.
И в этот миг застыло море,
как будто миска холодца.
И стало тихо, стало мрачно.
И свет не вспыхнул в окнах дачных.
И жизнь текла... но — неудачно:
как бы в предчувствии конца.

3

Не копошилась в соснах птичка,
не пела песню электричка,
не отпирала дверь отмычка,
и не пылали фонари...
И на столбах истлели знаки.
Померкли дачи и бараки.
Ни пешеходов, ни собаки,—
ничто — снаружи и внутри.

4

Отпали бранные заботы.
Не пролетали самолеты.
Молчали фабрики-заводы.
Лишь подо мной неслись шаги.
И тут же — с сатанинским смехом —
следы мои глушило снегом!
И пахло двадцать первым веком,
как чесноком,— из недр пурги.

5

И так я мчался по дорожке
вдоль жизни, измельченной в крошки,
как вдруг — желанный свет в окошке
возник — улыбкой! — меж стволов.
В каком-то дачном мезонине
сквозь зелень штор, как злак в пустыне,
он мне шептал: «Прииде, сыне...»
И я пошел на смутный зов.

Чернела каменная плитка
сквозь сад, куда вела калитка.
И дух кофейного напитка
распространялся от крыльца.
И я ступил из смертной тени,
из мглы студеной — на ступени,
что ввысь — к желанной перемене —
вели меня в чертог Творца.

7

Творец сидел на табурете
в своем убогом кабинете
и пред свечою — в зыбком свете —
писал доклад или трактат.
А рядом — в колбе и пробирке —
на двух штативах — пар из дырки! —
(цифирь мудреная на бирке)
кипел какой-то концентрат...

8

Ученый был уютен внешне:
он обладал бородкой, плешью,
и на носу его прилежно
сидели круглые очки.
Но вместе с тем сквозил у дяди
какой-то грозный штрих во взгляде.
Струились буквы по тетради,
как будто кровь из-под руки.

Отдав поклон как можно шире —
ему и всей его «хавире»,—
«Что происходит в нашем мире? —
спросил я с ходу старика.—
Там, за окном, лишь воет вьюга,
там нет — ни недруга, ни друга,
как будто вымерла округа...
И я возжаждал огонька!»

Перо, скрипевшее уныло,
макал он в красные чернила.
И вдруг как будто осенило —
сказал: «Случился катаклизм!
Клянусь, хоть я не Мефистофель,
я знаю все о катастрофе!
Однако... прежде выпьем кофе,—
в его флюидах — артистизм».

Как не помыслить тут о черте?
А старичок мне: «Ах, не спорьте!»
И кофе, сваренный в реторте,
разлил по склянкам — на двоих.
И говорит: «Мы сели в лужу!
Добра и зла баланс нарушен:
сместились центры. Подвиг нужен!
Чтоб совместить шарниры их».

Тут я задергался тревожно:
«Неужто все так безнадежно?
Хоть что-нибудь придумать можно?!»
А старичок, подкинув бровь
и оттопырив гневно ухо,
сказал: «В пробирке сей — не муха!
В ней выращен — Зародыш Духа!
В аортах коего — Любовь!»

13

А кровь... залита и в дебила!
В ней нет мечты, в ней мало пыла.
Ее отныне — на чернила!
Для канцелярского стола...
О, мой Зародыш — совершенен:
в нем нету зла, сиречь — нетленен!
А во-вторых, он — обезгенен:
не наследит... без генов зла.

14

Мир опустел не от чахотки,
не от войны и не от водки,—
из-за сердечной злой сухотки,
что Черной Завистью звалась.
Прельщала власть, манило злато...
Немилосердно все, треклято!
Не жизнь — себя в себе утрата!
На кой такая быль сдалась?!»

...Тут я, зевок крамольный пряча,
спросил: «А ваша — в чем удача?
Неужто решена задача?
Нельзя ли... на плоды взглянуть?»
Ученый, явно дав промашку,
к моим глазам поднес стекляшку,
а в ней — какую-то букашку,
в которой якобы — вся суть...

«И это — Дух? — спросил я сухо.—
По всем приметам — это муха!»
Вдруг моего коснулся слуха
спиралевидный жуткий смех.
«Мой Дух, хе-хе, отнюдь не разум.
Он — во плоти! Он выше классом!
Он у меня доступен глазу —
как ложь, как блажь, как тайный грех!

Теперь сию частицу Света
могу прихлопнуть я газетой!
Могу лишить ее обеда!
Могу... Могу... Могу... Могу!»
И тут я дал дедуле по лбу,
да так, что выронил он колбу,
и та — на тысячи осколков
распалась — искрами в мозгу!

Хваля себя (что вот, не трушу),
 я растоптал ногой лжедушу
 и тут же вынесся наружу,
 скатившись кубарем с крыльца.
 А мне вослед неслись упреки,
 как будто стрекот злой сороки,
 и запах кофе кареокий,
 и запах тухлого яйца!

...Но вот, очнувшись от виденья,
 я обозрел свои владенья
 и, ощущая тяготенье
 к Земле и к существу на ней,
 я, знавший ад, войны окрошку,
 тюрьму и дальнюю дорожку,
 вдруг различил под елкой... кошку!
 Зеленый свет ее очей.

Она к моим ногам прижалась.
 И в сердце — просочилась жалость.
 И все живущее сбежалось
 опять ко мне — за общий стол!
 А в опустевшем мезонине
 я побывал случайно ныне.
 Там, в ядовитой паутине,
 я эту рукопись обрел.

Комарово
 1988

* * *

Тепло. Внезапную жару
деревья слушают, как вьюгу.
Сухие листья на ветру
стучат отходную друг другу.

А по обочинам — полынь,
вегетарьянский запах тленья.
И небывалая теплынь —
как бы включили отопление.

И в сердце мягко неспроста.
И сквозь грядущие рассветы
восходит лунный лик Христа
в морозном выдохе планеты.

1988

* * *

Над нами заря небывалого цвета,
в просроченных красках — остывший мятеж.
Сегодня — не время великих поэтов,
а время великих утрат и надежд.

Умеют деревья заламывать руки,
а дикая степь — подавать голоса.
И наши молитвы похожи на ругань, —
ведь мы позабыли, что есть небеса.

Смирись, говорю я оглохшему сердцу.
В бульоне наук цепенеют сердца.
Вот весточка с Марса, а вот по соседству
в промозглом парадном разделе жильца.

Налево дорога, направо дорога, —
два прежних, на выбор, пред нами пути...
А ты, отрицающий дьявола с Богом,
пытался без них до развилки дойти.

1988

ПУСТЫНЯ

Не то пустыня, что лежит в песках,
где дружат ящерка и черепаха,
где саксаул на скрюченных ногах
танцует в пыльной буре праха.

Не то пустыня, что течет водой
земных морей и океанов,
где чайки мечутся, где рыб косяк густой,
и корабли связуют страны.

Не то пустыня, что сияньем звезд
оповещает жителей Вселенной
о том, что в небе есть немало гнезд,
а в них — крупницы вечности нетленной.

Пустыня то, где нет любви уже,
где даже музыка молитв нехстати:
она — в твоей измученной душе,
лишенной милости и Божьей благодати.

1988

* * *

Век суеты короче стал,
догадка зреет в нас:
сбываются пророчества —
грядет расплаты час!

Жизнь выцвела, пока листал
ее ты, в жажде див,—
не так, как Апокалипсис,—
как пошлый детектив.

Не тонет уж тоска в вине.
Страх застит путь к звезде.
И светит лишь Раскаянье!
Хотя бы — на кресте.

1989

ПЯТИСТИШИЯ

I

«Вы превратили Истину в руины!» —
сказал поэт, забыв, что эту твердь
зубила не берут и не взрывают мины.
Она всегда нетленна и невинна
и все венчает, даже нашу смерть.

II

Что-то было, какие-то смыслы:
то ли хутор, а может, погост...
Эти выступы почвы бугристой,
словно формулы, буквицы, числа.
И — трава в человеческий рост.

III

И я забыл внезапно о себе.
Всего — на миг. Но сколько я увидел
прекрасных лиц на жизненной тропе,
благих сердец... И огонек в избе —
звездой Вифлеемской в тьме событий!

IV

Вражда людей, чей путь к любви жесток,
в своем усердьи неустанна...

И красной звездочкой опять взойдет цветок
там, где твой сын упал лицом в поток —
в расщелине — в горах Афганистана.

V

Позолотили маковки церквей.
Зачем? Для вида. Для утайки сути.
Так сын старуху мать в приюте
икрой зернистой... с ложки, чтобы люди...
А впрочем, — кто рождает сыновей?

VI

Метался на больничной койке,
как бы стучался в мир иной!
Но принят не был: слишком бойкий,
как муж, явившийся с попойки,
на стульях спящий — врозь с женой.

VII

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

Стремясь в необозримые пространства,
в неведомые воды и места,
он даже именем своим, звучащим страстно,
соединял бессмертное с напрасным,
неся благую весть о милости Христа.

* * *

Сжигать натруженные нервы,
чтоб первым слыть, а первых... нет.
Они — легенда. Их шедевры
возникли там, за далью лет.

Все было: Библия, Бетховен,
Шекспир, и Рембрандт, и Толстой.
Но и Сальери не виновен,
став спутником, а не звездой.

Увы, не каждое творенье
слывет бессмертным наяву,—
но всем доступно утешенье
в стремленье духа — к божеству!

1988

* * *

О цветке поведал гений,—
слов мерцала ворожба...
В жажде острых ощущений
ощетинилась толпа.

«Как посмел ты петь про пестик
в дни гонений, про пыльцу?!» —
в жажде крови, в жажде мести
говорил народ певцу.

Но молчал он... Лишь медвяно
мысль стекала со струны.
Дни гонений — постоянны.
Дни прозрений — сочтены.

1988

ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИИ

Как бы мы ни теребили
слово Р у с ь — посредством рта,—
мы России не любили.
Лишь жалели иногда.

Русский дух, как будто чадо,
нянчили в себе, греша,
забывая, что мельчала
в нас — Вселенская душа.

...Плачут реки, стонут пашни,
камни храмов вопиют.
И слепую совесть нашу
хамы под руки ведут.

Если б мы и впрямь любили,—
на святых холмах Москвы
не росло бы столько пыли,
столько всякой трин-травы.

Если б мы на небо косо
не смотрели столько лет,—
не дошло бы до вопроса:
быть России или — нет?

В ней одно нельзя осилить:
божье, звездное, «ничье» —
ни любителям России,
ни губителям ее!

1988

* * *

Улица, слякоть. Рассветная дымка.
Люди теснят и толкают меня,
словно для них я теперь — невидимка,
жар потаенный без дыма-огня,
голос прозрачный, сосуд опустевший,
мыльный пузырь или просто душа,
что отделилась от жизни сгоревшей
и продолжает свой путь не спеша —
вдоль по проспекту, где хаживал Гоголь,
где Достоевский курил табачок,
где и тогда обходились без Бога
(разве — помянет в сердцах мужичок).
...Вот и машины бездумно-безбожно
пренебрегают фигуркой моей,
будто и впрямь ее шансы ничтожны,
будто и впрямь раздавить ее можно?
Можно. Фигурку. Но речь — не о ней.

1988

ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА

Г. В. Мельникову

Мерцание в мозгу —
точней в душе неспящей —
таинственных огней
энергии любви...
Как морось над Невой
в дни осени скорбящей,—
печальный наш удел,
Господь, благослови.

Мерцание в глазах —
точней в кипящем взгляде—
оплавленных идей,
как жидких молний всплеск.
Писание стихов,
восторга жизни ради,
на нарах Колымы
под их мерзлотный треск.

Мерцание в словах
ослепших — искры Божьей!
...Не сетуй на судьбу,
что наискось прошла.

Таинственных огней
влияние — чуть позже —
разгладит зыбь морщин!
Отпустит сердце мгла.

1989

БАЛЛАДА О ПОТЕРЯННОЙ ДУШЕ

Душа тоскует о живом.
Не осуждайте, невидимку,—
ей нужно с теплым существом
пройтись по городу в обнимку.

Она при свете фонарей,
на расстоянье безопасном
от власть имущих упырей,
желает думать о прекрасном.

...Вы наблюдали, как шурша
листва идет, вертясь воронкой,
с прохожим рядом? То — душа
к живому льнет, влачась сторонкой.

Она меж храмов держит путь,
минует залы преисподен,
покуда в сердце чье-нибудь
новозажженное
не входит.

1989

РАБ БОЖИЙ

Он сидит в своей камере,
смотрит жалобно в окно...
Он не любит хлеб свой горький,
сам себе — не рад давно.
На запоре окна-двери,
превратил свой дом в тюрьму...
Что случилось?
Он... не верит.
Ни во что. И — никому!
Поступили с ним так плохо
кто? Родители, жена,
дети, Родина, эпоха,
вездесущий сатана?
Поступили. Кто — не важно.
Наяву — не в страшном сне.
Тихим стал. А был — отважным.
Там, однажды, — на войне.
Страшен враг. Страшней начальство:
речи, планы... Вот и сник.
А ведь он, в своем начале,
был живым, как в горле крик!
В шифоньер, под звон регалий,
пиджачок задвинут вдаль...
Не убили. Запугали!
Мне его смертельно жаль.

Жаль сиротку, жаль былинку,
жаль себя (ведь он — во мне!),
землю жаль, народ былинный,
робкий свет в его окне.

1989

* * *

Проснулся ночью: никого...
В окне — остывший сад и звезды.
Вздыматься рано. Плакать поздно.
Один. Ты сам хотел того.

Кряхтит неслышно ветхий дом.
Пыхтит антоновкой пространство.
Все, что искал ты в мире странствий,
сгустилось в аромате том.

Нашарив спичку, вызвал свет.
Обвел глазами близкий сумрак.
Ночная бабочка бездумно
явила огненный балет!

Но спичка пальцы обожгла.
Вновь погрузилось в спячку тело.
Зато... плясунья уцелела! —
как эта жизнь, как эта мгла.

1989

Я ВЕРНУСЬ

...возвратить поглощенное.

Н. Ф. Федоров

Всего нагляднее — в апреле,
когда из-под одежд зимы
трава — в сиянии и в теле —
в мир возвращается из тьмы.

Так в сердце — на исходе жизни —
в сию копилку снов, гробов,
трещиноватую от истин, —
вдруг возвращается... любовь!

Так на забытую могилу
Цветаевой, где мгла и мох,
второй, наджизненной силой
слетает славы поздний вздох.

...Блажен, кто верит в «небылицы» —
в бессмертье душ, в Святую Русь,
кто, распадаясь на частицы,
с улыбкой мыслит: «Я — вернусь!»

Кто чрез смертельные границы
плывет, как журавлиный клик...
С чьей опаленной плащаницы
к нам проступает Божий лик.

1989

БЕЗГЛАГОЛЬНОЕ

Россия. Вольница. Тюрма.
Храм на бассейне. Вера в слово.
И нет могильного холма
у Гумилева.

Загадка. Горе от ума.
Тюрма народов. Наций драма.
И нет могильного холма
у Мандельштама.

Терпенье. Длинная зима,
длинней, чем в возрождение вера...
Но — нет могильного холма
и... у Гомера.

1989

СОДЕРЖАНИЕ

Сегодня

1986—1989

Мыльные пузыри	6
Исцеление	8
Геометрия судьбы	9
«Я должен был родиться журавлем...»	10
Прелестное слово	11
Встреча	12
Мадонна	13
«Над полюсом сквозит...»	14
Перчатка космонавта	15
Мертвые слова	16
У классной доски	17
На пустыре	18
«Я дверь открыл и в комнату вошел...»	19
«Бессловесна, безвестна, чиста...»	20
Улыбка	21
«Январь. Мороз. Крещение...»	22
Дачник	23
«Какая длинная зима...»	25
Босиком	26
Иступленный человек	27
«Не нам на рассвете решать...»	28
«Лужайка. Трава на припеке нежна...»	29
Крестьянские дети	30
«Шумит за окном затяжной...»	31
Недостроенный дом	32
«Он звал меня, как пить просил — глоток!..»	33
В старых аллеях	34
«Город. Улица. Дождик слезится...»	35

На Крюковом канале	36
Ночь на Дворцовой	37
Жизнь	38
Под шум винтов вертолёта	39
Падший ангел	40
«Не зная жизни, умирать легко...»	41
«Стоять в раздумье зрелом...»	42
«Освободясь от ложного стыда...»	43
«Бывает так: влюбился и затих...»	44
Жернова	45
«Все ярче явь...»	47
Попытка отчаяния	48
«Послушай, что тебе скажу...»	49
Отпечатки	50
«Косынка меж стволов!..»	51
«Брызжет снежная кашлица...»	52
«Слышишь свист? Начинается вьюга...»	53
Два лица	54
«В то утро солнце так и не взошло...»	55
«Давай поругаем прогресс...»	56
Дитя любви	57
Таинство	58
Бумаги чистый лист	59
«Не убежденным, мудрым, ярым...»	60
«По мостовой булыжной...»	61
Бабье лето	62
«Друзья — деревья, птицы...»	63
«Не профиль модницы капризной...»	65
Зачем	66
«Пустыня. Память. Саксаул...»	67
«Блуждаю в прошлом, как подлодка...»	68
«Гостиница. Глубинка. Таракан...»	69
«Очнуться от прокисших нег...»	70
Урод	71
Соловьи	72
Ночное шоссе	73
Семеновна	75
Красная комната	77
«Дождь молится на крыше...»	78
Копилка улыбок	80
«Уёмней сердца пыл...»	81
Телефонный разговор	82
«Ветер — снег с ветвей огрузших...»	83
«Восславим свежий хлеб...»	84
В пути	85

Красное и белое	86
В Петропавловской крепости	87
«Цепенеет осенняя муха...»	89
Орнамент	90
Сорокоуст	91
«Раздвинулся лес, разбежались кусты...»	92
Тонкая рябина. <i>Рассказ шофера</i>	93
«Был розовым мир...»	95
Притча о первопричине зла	97
Улыбка невинного	99
Как знать...	101
Безымянные могилы	102
Третьи	104
Копытца	105
Январские ямбы	106
Монументы	107
«Горят глаза, шипят уста...»	108
Бессонница	109
Сиротство мысли	110
В весеннем лесу	111
Баба Дуся	112
«Весна — преображенья институт!...»	113
Проездом	114
Размышления на лестничной площадке	115
Обитаемый остров	116
Другие дети	117
Мираж	118
Стрельнинские руины	119
«Великая радость — весна...»	120
Старость	121
«Наступит срок, и всяк себя покинет...»	122
Восвояси	123
«Пречистый, нетронутый снежный покров...»	125
«Иссыкает листва на деревьях...»	126
«В тех краях живал я смолоду...»	127
«Заунывно, как ветер в трубе...»	128
Музыка	129
«Орган в соборе, скрипка в кабаке...»	130
«В созревших семенах травы...»	131
Анна	132
В. М. Шукшину	134
Николаю Клюеву	136
Скучная история	138
Оптина пустынь	140
Грустная повесть	142

«Над рекой, над забытой рекой...»	143
«В Комарове, где воздух брусничный...»	144
«В разгар зимы в вагоне зыбком...»	146
«Руины тьмы ночной...»	147
«Из года в год — знакомый вид...»	148
Критикам	149
«От напора взноют двери...»	150
«Сопят, прильнув к бумаге...»	151
«Чем утешаете себя...»	152
Тихий свет	153
«Всем уставшим в юдоли земной...»	154
«Все постепенно: красота...»	155
Художнику-модернисту	156
«Проснусь, под краном Богу помолюсь...»	158
«Тишь разъята, утрачена гладь...»	159
«Я в зеркале себя не узнаю...»	160
«Если думать увечно...»	161
«В мозгу — свинец и олово...»	162
«Я это чувствовал нутром...»	163
«Античность — миф...»	164
Рисунок мысли	165
«Старел асфальт, и ветер гулкий...»	166
«Редкий, бесшумный предутренний снег...»	167
Двойник	168
«Хочу вообразить...»	169
Ощущение бездны	170
«Кругами, спиралью...»	171
«Не расплескать... Не воду, не вино...»	172
«Заглохший сад, порожняя изба...»	173
«И где-то за полночь...»	174
«Прелестница печаль...»	175
«Я в этот город больше не вернусь...»	176
В морском порту	177
«Случайно или нет...»	178
«Привет скитальцу жизненных морей!...»	179
«Среди безмолвных книг...»	180

Вчера

1955—1981

Поэт из коммуналки	182
«Сначала вымерли бизоны...»	184
«Человек уснул в метро...»	186

Бригада	187
Султан	188
В зоопарке	189
Земля. <i>В минуты безбожья</i>	190
«Напишу роман огромный...»	191
«Хочу увидеть короля...»	192
С полочки	193
Бывшие люди	194
«На кладбище «Доброе утро!»...»	195
Скука	197
Визит. <i>Из поэмы «Незабываемый 37-й».</i>	198
Борису Пастернаку	200
Марина	201
Возле монумента	202
Есенин. «Англетер».	203
«Разве хотел умирать Достоевский...»	204
«Из-под ног ушла дорога...»	205
Юность	207
«А я живу в своем гробу...»	208
Вот моя деревня	209
«Лучшие люди»	211
«На меня порою злятся...»	212
«За границей не был, и — не тянет...»	213
Старые газеты в Якутии	214
«Поцелую часть лица...»	215
Три часа ночи	216
Четыре часа ночи	217
Вечеринка	218
«У меня такая боль безбожная...»	219
«Артезианского колодца новорожденная вода!..»	220
«Опустил свой костяк на скамью...»	221
«Я меж сосен бродил...»	222
Одоленцы	223
Козочка	224
«А землю трогает снежок...»	225
Куда?	226
«Зеленые лица сосудов...»	227
«Все пою и пою...»	228
«Речка в Витебске — Витьба...»	229
Несветский поэт	230
«И ныне, и присно — во веки веков...»	231
В подвальчике	232
«Я посещаю площади...»	233
«Печальный факт: стареет тело...»	234
«Вы ему о Шекспире...»	235

«На Колымском тракте — трактир...»	236
«Когда устанете глаголить о генсеке...»	237
Чума бездушия	238
«Смиренно, а не пламенно...»	240
Дорога	241
Стена	242
«Засыпает бабушка тревожно...»	243
«Раздвигаю деревья огромные...»	244
«Ледовитые просторы...»	245
«Не кажется ли мне, что я живу?...»	246
Слезы женские	247
«Ругать Россию модно...»	248
«По улице билетиком лететь...»	250
«Как хорошо, что нынче непогода!...»	251
«Все вы будете старухами...»	252
С гонорара	253
«Никого на земле не боюсь...»	255
«Очнись, душа! Звенят бокалы...»	256
Нашествие. <i>Из цикла «Сны»</i>	257
«Наступил на мозоль сослуживец...»	258
«Ведро вина, бок о бок кружки...»	259
«Прожито больше половины...»	260
Поэт в экспедиции	261
«Это песня, птичка-песня...»	262
«Я умру поутру...»	263
«Отпусти меня, боль, отпусти...»	264
В театре	265
«Переехало собаку колесом...»	266
«Если есть они, глазастые...»	267
«На лихой тачанке...»	268
Каково?	269
Я вас любил	270
Из цикла «Свобода по Бехтереву»	
I. Прощание с алкоголем	272
II. «Износилась нервная система...»	272
III. Город	273
IV. «Все некогда осмыслить бег времен...»	274
«С неохотой собрался в рейс...»	275
«Мне пора на природу...»	276
«В час есенинский и синий...»	277
«Мы — поколение нерях...»	278
«Роскошь сытых обиталищ...»	279
«На карауле не стоял...»	280
Домино	281
«Отчизна в поисках кормильца...»	282

В ресторане	283
Из ранних песен	
Фонарики	284
На диване. <i>Песенка бедных художников</i>	285
Песенка про постового	286
Моей соседке	287
Мне говорят	288
Новогоднее	289
На кладбищенской улице	290
Квартира № 6. <i>Поэма</i>	291
Наша улица	297

Всегда

1985—1989

Тысяча лет. <i>Из «Киевского цикла».</i>	
I. «Не будет препятствий...»	304
II. В Лавре	305
III. «Ну что, ощутили...»	305
IV. Язычники	305
V. Аскольдова могила	306
VI. Чернобыльские старухи	307
VII. «Нет, не дом Турбиных...»	307
VIII. «Завтра выпал снег...»	308
IX. «Тяжко в землю палочку втыкая...»	308
Русская церковь	309
Воспоминание об одной улыбке. <i>Баллада</i>	310
Очевидец	312
«То был разрыв длиною в пять минут...»	313
«Нет ничего на этом берегу...»	314
«Вдали от глаз людских...»	315
Читающий мысли	316
Свидание с прошлым	317
Ушедшие	318
«Ясный, просвеченный, чистый...»	319
Ночь под Рождество	320
«Лампада над книгой потухла...»	321
Покаяние	322
Вразрез	323
«Среди исчерпанных вещей...»	324
«Кто виноват, что в глубине души...»	325
«Я схоронил свою мечту...»	326
Еще	327

«Присутствую при снегопаде...»	328
«В сознание недужном...»	329
Перед дорогой	330
В поисках Невидимки. <i>Биоритмы</i>	331
«Тепло. Внезапную жару...»	338
«Над нами заря небывалого цвета...»	339
Пустыня	340
«Век суеты короче стал...»	341
П я т и с т и ш и я	
I. «Вы превратили Истину в руины!...»	342
II. «Что-то было, какие-то смыслы...»	342
III. «И я забыл внезапно о себе...»	342
IV. «Вражда людей, чей путь к любви жесток...»	343
V. «Позолотили маковки церквей...»	343
VI. «Метался на больничной койке...»	343
VII. Христофор Колумб	343
«Сжигать натруженные нервы...»	344
«О цветке поведал гений...»	345
Любителям России	346
«Улица, слякоть. Рассветная дымка...»	348
Огни святого Эльма	349
Баллада о потерянной душе	351
Раб божий	352
«Кресты»	354
«Проснулся ночью: никого...»	355
Астероид	356
Обезглавленный мир	357
Я вернусь	358
Безглагольное	359

Горбовский Г.

Г67 Сорокоуст: Триптих.— Л.: Сов. писатель, 1991.— 368 с.

ISBN 5-265-01245-1

В книгу известного ленинградского поэта Глеба Горбовского включены стихи, написанные в последние годы, и стихи, долго ждавшие своего часа и наконец дождавшиеся его; одни служат своеобразным фундаментом для других, и все вместе представляют поэтическую личность Г. Горбовского во всей глубине и многогранности.

Г 4702010202—293
083(02)—91 180—90

ББК 84. Р7



Скан, обработка: Prizrachyy_Putnik

Глеб Яковлевич Горбовский

Сорокоуст

Худож. редактор *М. Е. Новиков*

Техн. редактор *Г. В. Мисюль*

Корректоры *Е. А. Омеляненко, Е. Д. Шнитникова*

ИБ № 7658

Сдано в набор 24.01.90. Подписано к печати 31.07.90. М 24714.
Формат 70×100¹/₃₂. Бумага офсетная № 1. Литературная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 14,95. Уч.-изд. л. 8,96.
Тираж 20 000 экз. Заказ № 500. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.